

НЕВЕСТА

ФРАНКЕНШТЕЙНА



Холодящий кровь роман о безудержной страсти блестящего, но бесчеловечного ученого Виктора Франкенштейна к своему творению. Нет-нет, не к безобразному, косноязычному, хромому гомункулусу! А к его изящной и грациозной невесте. Достойное продолжение бестселлера всех времен и народов — классического английского романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Виктор Франкенштейн вновь не сумел побороть непомерного тщеславия и создал еще одно существо. На этот раз — невероятно прекрасное с виду, но непредсказуемое изнутри: ангела или дьявола. Ангела? Но кто убил, изрезав ножом, жену и маленького сына Виктора, залив постель, всю комнату, весь дом кровью, заставил обезумевшего от горя Франкенштейна рыдать над их истерзанными, изуродованными телами?! Ученый знает это с самого начала, но — в который раз! — не может остановиться. Кровь и страдания невинных жертв не станут искуплением: зло распространится и найдет дорогу в будущее...

В книгу включена также история создания оригинального романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». И она не менее увлекательна и драматична, чем книги о Викторе Франкенштейне и его созданиях.

Хилари Бэйли
«Невеста Франкенштейна»

Ты должен создать для меня женскую особь

Чем дальше продвигался я в своей работе, тем ужаснее и невыносимее становился каждый день моей жизни.

Три года назад я создал злодея, жестокость которого оказалась столь беспредельной, что содеянное навеки разбило мое сердце и наполнило меня самым горьким раскаянием. Тогда я стал склоняться к тому, чтобы создать иное существо, о нраве которого я точно так же не имел ни малейшего представления. Особа женского пола могла в тысячу раз превзойти своего партнера в жестокости, и не исключено, что издевательства и убийства будут доставлять ей еще большее наслаждение, чем ему.

В сумасшествии отчаявшегося я полагал, что создам другое существо, подобное первому, и, дрожа от охватившего меня страстного желания, терзал плоть, которую сам творил.

Мэри Шелли, «Франкенштейн», 1818

Франкенштейн и Мэри Шелли

На рассвете 23 апреля 1816 года двадцативосьмилетний лорд Байрон, к тому времени уже прославленный поэт, оставил Лондон и в сопровождении своего приятеля врача Джона Уильяма Полидори, которому минул двадцать один год, без промедления направился в своем экипаже в порт Дувра, где взошел на борт судна, отправлявшегося во Францию. Байрон покидал Англию, оставляя после себя смутный образ скандалиста и должника, преследуемого по пятам кредиторами. Только что он поставил свою подпись на документах, свидетельствующих о его разводе с дамой, которая стала его супругой немногим более года назад. Остался еще и ребенок — дочь. Подписал документы он без особой охоты (вопрос сводился к разделу имущества), однако вынужден был уступить под напором семейства жены, угрожавшей в противном случае предать огласке его гомосексуальные наклонности, в то время законом наказуемые, равно как и его кровосмесительный союз со сводной сестрой. За этим последовали проблемы финансового характера: наследство, которое, как предполагалось, должно было отойти жене Байрона (впоследствии оно перешло бы к нему), досталось матери жены. Многочисленные кредиторы поэта, узнав о состоянии его дел, тут же обрушились на должника со всех сторон. Результатом всего и стало это столь поспешное бегство. Стоило должнику пересечь границу, как законы Англии утрачивали над ним свою силу.

Десять дней спустя еще одна, подобная этой, пара спешно направилась в дуврский порт. Это были мужчина и женщина: поэт (хотя и менее известный, чем Байрон) Перси Шелли и его возлюбленная — восемнадцатилетняя Мэри Годуин. Девушка была дочерью известного радикала Уильяма Годуина и писательницы феминистского толка Мэри Уоллстонкрафт, которая умерла при родах. Этих двоих также сопровождали — Клэр Клермонт, сводная сестра Мэри, дочь второй жены Годуина, и восемнадцатимесячный сын Шелли и Мэри. Десятью днями ранее, в день спешного отъезда Байрона, суд, рассматривавший вопрос о финансовом положении семьи Шелли, вынес решение не в пользу обремененного долгами поэта.

Отношения сэра Тимоти со своим старшим сыном и наследником Перси уже не один год строились на конфликте. Молодой поэт был объявлен атеистом и радикалом. Он выступал против частной собственности. В двадцать один он сбежал с шестнадцатилетней девушкой, обвенчался с ней, но уже два года спустя, бросив супругу, вновь скрылся, на этот раз с шестнадцатилетней Мэри Годуин. Ситуация значительно осложнялась еще и тем, что вторым ребенком Гариетт Шелли, родившимся после того, как ее оставил супруг, оказался мальчик, который, судя по всему, становился наследником земель и титула сэра Тимоти в случае ранней смерти самого Шелли. Однако, несмотря на все свои сомнения, сэр Тимоти распорядился о выплате своему непутевому сыну 1000 фунтов стерлингов ежегодно — суммы вполне достаточной, чтобы безбедно жить, но никак не решавшей проблему с выплатой многочисленных долгов.

Хотя Шелли и Байрон до той поры не знали друг друга лично, встреча в Женеве входила в их планы. Они не просто имели много общего: возраст, социальное положение, радикальные политические взгляды, одни и те же литературные интересы, финансовые проблемы, несложившиеся семейные отношения, — их связывало также еще одно обстоятельство. Не далее как за два месяца до этого события Клэр, сводная сестра Мэри,

отдалась Байрону и пленила его сердце. Мало заботясь о вытекающих отсюда последствиях, Клэр жила только настоящим и была счастлива при одной мысли о предстоящей встрече этих двоих, столь любимых ею мужчин.

Итак, поэты встретились и понравились друг другу. В скором времени они сняли два домика на берегу Женевского озера. Дом Байрона, вилла Диодати, стоял на возвышении и имел более внушительный вид, чем располагавшийся в низине, прямо на берегу, дом Шелли. От одного дома к другому через оливковую рощу пролегала узкая тропинка.

В преддверии июня погода стояла очень плохая: на большей части Европы сказывались климатические изменения, вызванные вулканическими извержениями. В то время, когда за окном бушевала стихия, компания вынуждена была отсиживаться дома. Вечера здесь проходили за всевозможными беседами, часто на философские темы. Говорили о происхождении жизни, читали рассказы о призраках. Но общая атмосфера портилась: у Шелли начались галлюцинации, вызывавшие опасения окружающих, а Байрону наскучила Клэр.

И вот как-то вечером после обеда Байрон предложил каждому написать свою историю о призраках. Он и сам начал писать вместе со всеми, однако уже через несколько часов отложил перо. (Рассказ этот позднее был закончен его доктором Джоном Полидори.) А Мэри в июне 1816 года принялась за «Франкенштейна». В конце лета компания развалилась. Шелли возвращался в Англию с намерением добиться пересмотра завещания своего деда и увозил с собой экземпляр завершенной лирической поэмы Байрона «Чайльд Гарольд», чтобы передать его издателям, а также Клэр, теперь уже беременную, и, конечно же, Мэри, в портативном рабочем столике которой уже лежали первые главы «Франкенштейна». Друзья с виллы Диодати встретятся теперь не раньше чем через два года.

Мэри, несмотря на кризисный год, работала, не отрываясь, и завершила книгу в мае следующего года, находясь на шестом месяце беременности. Роман был напечатан в ноябре 1817 года. Он не остался незамеченным.

В нас так прочно засели образы обошедшего все экраны фильма, что многим, посмотревшим его, начинает казаться, будто они имеют представление и о книге. Однако это не так. В книге повествование идет по кругу. Начинается она с писем, которые английский капитан дальнего плавания адресовал своей сестре. В них он рассказывает об одном интересном случае, произошедшем с ним во время плавания. Однажды его корабль застрял во льдах Арктики. И вот в один из дней капитан заметил вдали огромную фигуру, быстро проезжавшую мимо на санях. Затем он вместе с командой спас человека, также ехавшего на санях и едва не погибшего от холода. На вопрос, что делал он здесь один во льдах, путешественник, которого звали Виктор Франкенштейн, ответил: «Разыскивал одного типа, который от меня сбежал». Действие романа завершается в Арктике, однако большую часть книги занимает история Франкенштейна, которую тот поведал Уолтону, капитану корабля. Это рассказ о событиях, предшествовавших ледовой погоне за чудовищем, которое Франкенштейн создал собственными руками.

Виктор рассказал капитану о том, как он рос в благополучной швейцарской семье, как, будучи подростком, страстно увлекся химией и прочими естественными науками и, в конце концов, открыл секрет создания жизни. Из отдельных частей тела в прозекторской морга он создал бесформенное существо ростом в восемь футов. Придя в ужас от содеянного, он тут же бросает свое «бедное создание», или, как он еще его называет, «несчастное чудовище».

Франкенштейн поведал Уолтону о том, как он старался забыть об этом несчастном

существо, пока не произошло убийство; жертвой оказался брат Виктора. Ученый знал, что убийцей был злодей, созданный его собственными руками, но не решался признаться в этом публично. В результате в преступлении был обвинен честный человек, преданный семье слуга, которому пришлось ответить за не совершенное им злодеяние. Когда Франкенштейн наконец встретился со злодеем, тот стал утверждать, что убил ребенка случайно. Безобразное чудовище, наводящее ужас своим внешним видом, вынуждено ото всех скрываться. Иногда случайно, иногда с помощью хитроумных уловок оно приобретает знания об окружающем мире и учится говорить.

Несчастный уродец обращает к Франкенштейну свои упреки: «Ты забыл, что я живое существо. Мне следовало быть Адамом, но я стал падшим ангелом, который по твоей милости познал лишь злодеяния, а не радость жизни. Ко всему, что благословенно в этом мире, я не имею никакого отношения. Я был добродетельным и мягким — горести превратили меня в злодея. Сделай же меня счастливым, и я опять стану добродетельным».

В этих словах звучит голос дочери Уильяма Годуина, жены Перси Шелли. Это она говорит нам о том, что жестокость разбивает сердца и искажает человеческую природу. Все люди станут хорошими, если к ним будут относиться по-доброму. Фактически не кто иной, как сам Виктор Франкенштейн, вновь и вновь отвергает свое творение и провоцирует его на злодейство. На протяжении всей книги правда стоит за словами чудовища, а воплощением агрессивности и зла становится сам Франкенштейн.

Когда же несчастное существо просит сотворить для него супругу и дать ему возможность уехать в какую-нибудь отдаленную страну, где он смог бы тихо жить, ученый поначалу медлит, а затем создает все-таки существо женского рода, но в итоге губит его, тем самым нарушая договор. Это, естественно, приводит к самым ужасным последствиям.

Идея чудовища Франкенштейна, равно как и это словосочетание, вошедшее в нашу повседневную речь, ограничивается образом ученого, который становится создателем деструктивной силы, вышедшей из-под его контроля. Однако мысль самой Мэри Шелли оказалась гораздо сложнее.

Говоря об истории создания «Франкенштейна», нельзя не остановиться на двух невероятных обстоятельствах. Во-первых, не перестает изумлять тот факт, что молодая женщина — ей через два месяца исполнялось всего девятнадцать — могла создать произведение, которому суждено было прожить два столетия, произведения, чьи образы воплотились не только в книге, но и на сцене театра, а также в художественных и мультипликационных фильмах. А во-вторых, удивительно то, что именно книга «Франкенштейн», а не все остальные произведения, созданные на ее основе, имеет особое значение в нашей культуре.

Что касается первого пункта, здесь с полной определенностью можно сказать следующее: как ищущий свой путь автор, Мэри Шелли не страдала от недостатка уверенности в себе. Ее мать была писательницей. За несколько лет до рождения Мэри ее отец завершил вызвавшую широкий общественный резонанс работу «Справедливость в политике» и вслед за ней написал имевший коммерческий успех роман «Каледон Уильямс». Когда Мэри была еще ребенком, Уильям Годуин стал издателем, а приемная мать девочки Анна Клермонт, заботясь о финансовой стабильности семьи, открыла книжный магазин. Все семейство, к которому относились Фанни, дочь Мэри Уоллстонкрафт, сама Мэри, а также двое детей ее мачехи, Клэр и Чарльз, и сын Годуина, — проживало над магазином. Будущая создательница «Франкенштейна» воспитывалась среди книг и писателей и для девочки того

времени получила хорошее образование. Никакой дискриминации в отношении женского пола она не испытывала. Наоборот, от нее ждали больших свершений. Ничто не препятствовало тому, чтобы Мэри взялась за перо.

Но почему же мы говорим о «Франкенштейне» именно как о книге? Ответ на этот вопрос не так-то прост. Нельзя не отметить, что в этом произведении соединились традиционные формы, научные и политические теории того времени, личный опыт писательницы и ее размышления. Перед нами не простая книга, а замысловатый узор. Можно сказать, что это роман, основанный на популярном в то время готическом жанре, непременной атрибутикой которого были старинные усадьбы, сумасшедшие монахи, запуганные мистическими событиями героини и не менее запуганные читатели. Разница заключалась в том, что Мэри Шелли являлась человеком исключительно здравомыслящим, к тому же она жила с мужем-поэтом, который был страстно увлечен наукой (нехарактерная черта для того времени). Еще будучи мальчиком, Шелли сконструировал из проволоки и прикрепил на двери классной комнаты хитроумную ручку, от прикосновения к которой директора его школы слегка ударило током. И это совсем неплохо, если учесть, что электричество было открыто всего за двадцать лет до этого события, а как применить это открытие на практике, пришло в голову лишь следующему поколению. Но в итоге после нескольких подобных экспериментов в школе преподаватели заставили Шелли упаковать все свои книги по химии и отослать их домой.

Несмотря на это, живой интерес поэта к науке не угас. Так, например, в Диодати врач Байрона сделал маленькому сыну Шелли прививку против оспы — в те времена вакцинация была внове, и многие относились к ней с предубеждением и страхом.

Не исключено, что инициатором вечерних дискуссий на вилле Диодати был Шелли. Однако мысль придумывать истории о призраках принадлежала, скорее всего, Байрону, ведь он был из тех, для кого наука не представляла особого интереса, поскольку в те времена она вообще не входила в разряд предметов, достойных внимания настоящего джентльмена. В страшной истории Мэри Шелли, вопреки предложению Байрона, не было ничего сверхъестественного. Даже наоборот, ведь Виктор Франкенштейн для осуществления своей творческой идеи обратился не к потусторонним силам, а к науке (возможно, причиной тому стал интерес к науке самого Перси Шелли). Но не она превратила создание Франкенштейна в чудовище. С помощью науки Виктору удалость лишь сотворить то, что он задумал.

И все же на «Франкенштейне» «лежат байроновские тени». Здесь чувствуется влияние мрачных и романтических байроновских героев — одиноких странников, мучимых кошмарами, не находящих себе места среди людей из-за какого-то тайного греха. Когда Мэри писала первые главы своего «Франкенштейна», Байрон заканчивал поэму «Чайльд Гарольд», главный герой которой и был именно таким человеком. И все же в романе Мэри Шелли не до конца ясно, кто же является мучеником судьбы — сам Виктор Франкенштейн или его творение. На протяжении книги они оба, каждый по-своему, становятся одинокими и презренными изгнанниками.

Очевиден и религиозный подтекст книги. Его не могло не быть. Хотя Годуины и являлись носителями свободомыслия, общество того времени в целом было проникнуто христианскими идеями. Государственные законы и мораль, книги, которые тогда читали, и картины, которые выставлялись, даже язык, на котором говорили, — все носило отпечаток религиозности. Поэтому, когда созданное существо называет себя франкенштейновским Адамом, признавая тем самым себя как творение, а Франкенштейна как творца, мы без

лишних слов понимаем (так же, как понимала это и Мэри Шелли), что такое трепетное благоговение перед Создателем. Франкенштейн взялся за роль Бога. Он создал жизнь.

Если посмотреть с другой стороны, легко можно заметить, что Мэри Шелли не акцентирует внимание на этой идее. Складывается впечатление, что все сказанное ею о взаимоотношениях между создателем и его созданием связано с политикой не в меньшей мере, чем с религией. Она выросла в среде радикалов. Отец ее поддерживал Французскую революцию (равно как и американскую войну за независимость), а мать даже находилась во Франции во время революции и затем стала автором работы «Защита прав женщин». Мэри была ребенком своего времени, который, можно сказать, вырос под красным полотнищем революции. Более того, в дальнейшем она соединила свою жизнь с Шелли — либералом до мозга костей. «Франкенштейн» говорит нам о том, что люди науки по тому влиянию, которое они оказывают на жизнь человечества, могут сравниться с Богом. Автор считает, что человек, если захочет, способен улучшить собственную природу, и, вслед за Руссо, она утверждает, что добродетель присуща человеку по самой его природе и является естественной для него и только цивилизация со своей жадностью, законами и нормами, ее защищающими, попирает добродетель.

Тот факт, что многие из нас сумели извлечь из истории Франкенштейна лишь две основные идеи (первая связана с существованием наводящего ужас злодея, более могущественного, чем человек; вторая вытекает из образа обезумевшего ученого, выпустившего зло в мир людей), больше характеризует нас самих как читателей, чем Мэри Шелли как автора.

И все же. И все же человеку, прочитавшему книгу, писательница передает некое особое послание, которое стоит за ее словами и о котором она сама могла даже не догадываться. История распорядилась так, что наследие Мэри Шелли оказалось пропитано духом Французской революции, которую ее родители горячо поддерживали. Однако свобода, равенство и братство привели к террору, из-за которого стал возможен приход к власти Наполеона и последовавшая за этим война, на пятнадцать лет захлестнувшая Европу. Когда Мэри с сестрой и мужем в 1814 году тайно уехала во Францию, страна находилась в плачевном состоянии.

Есть уроки, которые родители преподносят своим детям, но есть и такие, на которых дети учатся сами. И эти уроки не всегда совпадают. Вид покалеченных ветеранов войны, просящих подаяние на улицах Лондона, руины голодающей Франции могли оказаться более убедительными, чем любые теоретические доводы. Не исключено, что во «Франкенштейне» Мэри Шелли предупреждала людей еще и о том, чтобы, выпуская свои творения в мир — будь то идеи или чудовища, — они всегда думали о последствиях. Возможно, и в ней самой, пока она писала эту книгу, происходил постепенный поворот от либерализма к консерватизму.

Не стоит забывать еще один факт: к тому времени как Мэри начала писать, она уже два года прожила с Шелли. На ее глазах умер первый их ребенок, прожив всего десять дней. Скандалы, долги, холодность со стороны родительской семьи стали для нее привычным делом. Вопрос о замужестве в это время просто не стоял, поскольку брак шел вразрез с принципами Шелли, поддерживавшим идею свободной любви. Должно быть, Мэри время от времени задумывалась о том, что будет с ней и ее маленьким сынишкой, если Шелли оставит ее или умрет. К тому же, начав писать, она, по всей видимости, уже знала, что ее сводная сестра Клэр носит под сердцем ребенка Байрона. Байрон и Шелли, несмотря на

временные трудности, имели и положение в обществе, и деньги, и Мэри не могла этого не понимать. Но все же, как женщина и как мать, она не могла не беспокоиться о будущем.

Существует предположение, что в своем Франкенштейне Мэри раскрыла образ человека нового типа, каким, собственно, и являлся мужчина, с которым она жила, то есть сам Шелли с его идеями о социальных реформах и научном прогрессе. А что, если во Франкенштейне, вкуче с его чудовищной тенью, злодеем-двойником, оказалось больше от получившего своеобразное преломление в восприятии писательницы образа супруга, чем во всем том, что она рассказывала об их совместной жизни? Что, если герой Мэри Шелли помимо ее воли унаследовал черты, свойственные ее супругу (пусть и несколько искаженные восприятием жены)? Что, если он действительно вышел за рамки ее представлений в реальном измерении того времени? У Франкенштейна были добрые намерения, но, несмотря на это, он принес в мир разрушительные силы. А ведь именно таким и был Шелли — смерть и беды преследовали его повсюду, вплоть до его ранней трагической кончины в двадцатидевятилетнем возрасте.

Нельзя отрицать, что книга Мэри Шелли стала воплощением ее представлений о науке и этических нормах, рассказом о ее прошлом и настоящем, о ее предчувствии будущего. Трудно выделить составляющие, которые в конечном счете служили тогда источником вдохновения для писательницы. Может, именно поэтому книга вот уже два столетия так завораживает читателей.

«Франкенштейн» был опубликован в 1818 году анонимно. Авторство приписывали отцу Мэри Уильяму Годуину. Предисловие было написано также анонимно самим Шелли, как будто бы от лица автора книги. Непонятно, по какой причине Мэри не поставила своего имени на обложку книги — карьера писательницы пользовалась в то время уважением в обществе. Вероятно, это произошло по одной простой причине: какое бы имя она ни выбрала — Годуин или Шелли, в любом случае к книге отнеслись бы с предубеждением, что повлияло бы на мнение издателей. Хотя имена двух известных деятелей радикального толка и не были у всех на устах (такое едва ли вообще было возможно в те времена массовой безграмотности и неразвитости средств коммуникации) — в среде критиков, газетных обозревателей и издателей их прекрасно знали. Раскрытие истинного автора романа могло повлечь за собой скандал и привести к трагическим последствиям (каковым и стало впоследствии самоубийство жены Шелли).

Книга имела успех, и вскоре по ее мотивам была поставлена пьеса. Казалось, для самой Мэри это не имело особого значения. Вероятно, ей это представлялось событием повседневным, несерьезным и легковесным. Похоже, она просто постаралась не обращать на него внимания.

Вернувшись в Англию, чета Шелли, а с ними и Клэр, удалилась в Баф. В январе у сводной сестры Мэри должен был родиться ребенок. Но не успели они провести в Англии и года, как их настигло страшное известие: пропала Фанни, старшая сестра Мэри (дочь Мэри Уоллстонкрафт и ее возлюбленного из Америки, бросившего ее вместе с ребенком). Шелли удалось найти следы Фанни, но было уже слишком поздно: девушка покончила с собой. Два месяца спустя пришла новость не менее ужасающая: Гарриетта, первая жена Шелли, тоже свела счеты с жизнью. Забеременев от человека, которого найти так и не удалось, она утопилась в реке. Через две недели Мэри и Шелли поженились, а еще через две недели у Клэр родилась девочка, которую назвали Аллегрой. Несмотря на все эти события, Мэри каким-то образом удавалось писать.

Однако несчастья на этом не закончились. Семейство Шелли (конечно же, вместе с Клэр) весной 1818 года отправилось в Италию. Произошло это почти через два года после их приезда в Швейцарию. Вместе с супругами были двое их собственных детей, трехлетний Уильям и малышка Клэр, а также дочь Клэр и Байрона, которой исполнился один год. Планировалось отдать Аллегру на воспитание отцу, то есть Байрону, на что Клэр согласилась без особой охоты. Летом младший ребенок Мэри заболел и умер в Венеции во время слишком поспешного переезда из Тосканы по жаркой летней погоде.

Спустя год в Риме умер Уильям, старший сын Мэри и Шелли. Через три года в возрасте четырех лет умерла и дочь Байрона, отданная им на воспитание в женский монастырь. Через три года утонул Шелли. Еще через шесть лет погибает тридцатилетний Байрон, принимавший участие в борьбе за освобождение оккупированной турками Греции.

С тех пор как компания друзей коротала за беседами вечера на вилле Диодати, прошло всего восемь лет.

После смерти мужа Мэри вернулась в Англию с единственным оставшимся у нее сыном и жила там на небольшое пособие, которое получала от отца Шелли. Сэр Тимоти контролировал все ее действия и следил за тем, чтобы вдова никому не рассказывала о своей жизни с его сыном. В последнем он действительно преуспел. Мэри написала еще четыре романа, но ни один из них не имел такого успеха, как «Франкенштейн». В это время Клэр Клермон, оставшись без средств к существованию, уехала в Россию, где в тяжелейших для себя условиях работала гувернанткой.

Когда двадцать лет спустя девяностооднолетний сэр Тимоти Шелли умер от туберкулеза, его наследником стал старший сын Шелли и его первой жены. После смерти сэра Тимоти было обнародовано завещание Перси Шелли, в соответствии с которым Клэр получала большую долю (сомнений в том, что они были близки, не оставалось) и благодаря этому могла вернуться в Британию. Мэри умерла семь лет спустя, а Клэр, которую в итоге безо всяких на то оснований лишили наследства, долго еще жила во Флоренции, где и перешагнула восьмидесятилетний рубеж.

Перси, единственный выживший сын Мэри, женился. Детей у него с женой не было. Дочь лорда Байрона и его супруги выросла и впоследствии работала с Чарльзом Баббингтоном над сложным устройством, которое ныне считается одной из первых версий компьютера.

Мое продолжение книги основывается на том, что Франкенштейн не уничтожает спутницу созданного им чудовища, а позволяет ей жить. Полагаю, что меня во время моей работы заинтересовало именно то, что интересует многих: действие и его последствия. Но был еще и личный мотив. В конце шестидесятых, за много лет до написания «Невесты Франкенштейна», я жила в Лондоне с мужем и тремя детьми. Мой муж, писатель, издавал журнал, печатавший научную фантастику. В квартире нашей всегда было много литераторов, художников, музыкантов. Отличавшиеся либеральными взглядами и свободомыслием, мы знали тогда, что старый мир скоро уступит место новому, который будет лучше прежнего. (Многое знали мы и о Байроне, и о Шелли.)

С другой стороны, хоть мы и не сомневались в том, что весь мир непременно должен обрести свободу и обретет ее в конце концов, по поводу свободы женщины всегда велись горячие споры. Практически все соглашались с тем, что обращаться с женщинами как с ущемленным в правах классом недопустимо, однако все аргументы становились несостоятельными, когда приводились неумолимые факты. Манифесты и воззвания все-таки

писали мужчины, а женщины в это время продолжали готовить обед, убираться, стирать и воспитывать детей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я приняла так близко к сердцу судьбу Мэри Шелли и ее сестры Клэр.

Между тем у нас начались неприятности. Стали проводиться аресты, люди сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Один кризис сменялся другим. Замолкла музыка. Власти, ранее притаившиеся в засаде и ждавшие удобного случая, денежные заправилы, влияние которых на самом деле никогда не ослабевало, вновь взяли все под свой контроль — совсем как в викторианскую эпоху.

И вот, находясь в таких условиях, я взялась за роман «Невеста Франкенштейна».

*Джошуа Элвину Комптону,
маркизу Нортхемптонскому,
президенту Королевского научного общества в Лондоне.
31 августа 1846 года, Кеттеринг-холл, Ноттингем*
Досточтимый милорд!

Я надеюсь, что вы не забыли нашу встречу в доме жены мистера Флинта. После обеда вы упомянули тогда о загадочных обстоятельствах смерти моего друга Виктора Франкенштейна, с момента которой прошло уже двадцать лет. Упомянули вы и о слухах, что с тех пор не утихают вокруг его имени.

Вероятно, вы помните, как в состоявшейся после этого личной беседе я сообщал вам о том, что, будучи другом Виктора Франкенштейна, я оказался тогда свидетелем, а отчасти и участником событий, предшествовавших его кончине. Я сообщил вам также, что у меня имеется полный отчет об этих событиях, составленный мною по дневникам, которые я вел в конце 1825 года. Кроме того, в моем распоряжении имеются ученые записи мистера Франкенштейна, в том числе графики и диаграммы, а также его собственное описание событий, послуживших впоследствии причиной его смерти. Тогда же я сообщил вам, что, являясь обладателем этих документов, я все явственнее понимаю, что должен предпринять какой-то шаг. Я сказал тогда, что переданная мной информация вызовет у вас удивление. Вы же были столь добры, что предложили мне прислать составленное мною описание обстоятельств жизни и смерти мистера Франкенштейна, равно как и принадлежавшие ему записи, и сказали, что с интересом прочтете эти документы и дадите им свою оценку, пообещав высказать мне свое представление о том, как следует распорядиться этими материалами.

Я с удовольствием направляю вам эти документы, ибо теперь спокоен, что могу разделить эту тяжелую ношу с человеком со столь высокой репутацией. Опасаюсь, что содержание этих бумаг произведет на вас шокирующее впечатление, однако смею предположить, что интерес, который они вызовут, будет не менее огромен. Смею вас заверить: все, что вы здесь прочтете, — истинная правда.

Засим остаюсь с благодарностью к вам за доброту и понимание в столь сложном вопросе.

*Ваш покорный слуга
Джонатан Гуделл*

1

История, которую должен я вам поведать, досточтимый милорд, которую долее двадцати лет держал я в секрете, странна и ужасна. Найдутся такие, кто скажет, что лучше б я оставил ее в покое и никому не рассказывал. Однако ж каждый человек, достигая определенного возраста, должен — хочет он того или нет — заплатить по счетам и выполнить свои обязательства перед теми, кто будет жить после него. Я не считаю, что в данном случае тропинка должна оборваться у моих ворот, и полагаю, что рассказать историю Франкенштейна — моя обязанность, мой долг перед прошлым. По этой причине я

и изложу здесь историю моего друга, несчастного Виктора Франкенштейна, историю души, обрешей себя на вечные муки, историю человека, который стал автором собственного падения и наводящего ужас конца. Я расскажу все, что знаю, хоть мне и не дано предугадать, добро или зло принесет миру эта исповедь.

Началась моя история в ноябре 1825 года. Но прежде мне следует кое-что поведать о себе — о том, каким я был в то время.

Молодой человек, не достигший еще тридцатилетнего возраста, обладавший хорошим здоровьем, небедный, я отличался тогда веселым нравом. Единственным горем, которое пришлось мне пережить до того времени, была потеря моей дорогой матушки, ушедшей в мир иной, когда мне было всего пятнадцать. Оставшиеся члены нашей семьи, а именно отец мой и две старшие сестры Арабелла и Анна, жили неподалеку от Ноттингема в Кеттерингхолле, в доме, который принадлежал нашему семейству вот уже более сотни лет. В местах тех проживало много наших друзей и родственников. Всем нам казалось, что мы живем в этом месте и трудимся на этой земле с самого Судного дня. [\[1\]](#) Хотя какое семейство думало б иначе? Однако это факт, и в качестве доказательств мы могли бы привести сохранившиеся отчеты. В соответствии с ними наши предки обосновались здесь хоть и не со времен Вильгельма Завоевателя, но все же очень давно. Семейство Гуделл, судя по этим бумагам, издавна считается одним из достойных и честных семейств в графстве, и представители его были рачительными землевладельцами, которые справедливо относились к арендаторам, а в годы, предшествовавшие времени написания этого романа, снизили ренту из-за войны с Наполеоном. Однако я отвлекся. Достаточно сказать только, что представители нашего рода многие годы честно выполняли свой долг и дали обществу своих врачей, юристов, государственных деятелей, а также достойных представителей иных профессий.

Однако по воле судьбы, когда мой дед доживал свои последние годы, в жизни нашего семейства произошли существенные изменения. После подобных заявлений, как правило, следуют сетования на судьбу, но только не в этом случае. На нашу долю, наоборот, выпали изменения в лучшую сторону. Дедушка нашел в нашей земле уголь, и вскоре приносившие весьма скромный доход пашни и участки для выпаса скота стали давать значительную прибыль. Иными словами, черный урожай, который мы стали собирать со своих полей, превратил меня в одного из тех молодых людей, которым нет нужды зарабатывать себе на кусок хлеба в поте лица своего. Таким образом, я мог позволить себе беззаботно осваивать те науки, которые выбрал сам, что впоследствии и привело меня к знакомству с Виктором Франкенштейном.

Хочу признаться (и полагаю, я в этом не одинок), что время, проведенное в университете Оксфорда, было для меня самой счастливой порой жизни. В эти годы я получал столь естественные для молодости удовольствия — от общения с друзьями, от вечеринок, гребли и разного рода проказ, возмущавших общественное спокойствие. Но, помимо этого, во время занятий в университете я всерьез увлекся изучением языков и проблем, связанных с их использованием в различных общественных структурах. Поэтому, закончив Оксфорд, я научился разбираться не только в портвейнах и кларетах, но отчасти и в филологии. Набрался я опыта, конечно же, и в любви, к которой относился тогда несколько легкомысленно. Однако смею надеяться, что она все-таки была, и что в поступке нашем не будем раскаиваться ни я, ни моя возлюбленная.

«В начале было слово», — говорит апостол Иоанн Богослов. А значит, изучение языка есть изучение человека, ибо именно язык отличает человека от дикого зверя. Не будь языка,

как смогли бы мы выразить возвышенные идеи, что было бы тогда с наукой и религией, что случилось бы с поэзией? Изучая языки и их происхождение, мы все более узнаем о самих себе. Говорят, король Яков I однажды даже приказал поместить в волчью яму младенца, чтобы тот в течение семи лет не видел ни одного человеческого существа. Монарх желал проверить, заговорит ли ребенок, когда его извлекут на свет белый, по-латыни.

После университета я приехал в Лондон для работы над словарем арамейского языка — того самого, на котором говорил Господь. Мой друг Дэвид Хатвей, полиграфист и издатель, недавно напечатал этот труд, а в то время, о котором идет здесь речь, он только ждал, когда я закончу работу.

Как-то вечером я попытался объяснить свои представления о роли языка Корделии Доуни — хозяйке дома, в котором я проживал. Боюсь, она тогда просто посмеялась надо мной.

— Почему ж это? — воскликнула женщина, отрывая взгляд от чулочка дочери, который, как мне помнится, она в тот момент штопала. Уставив на меня свои большие и ясные голубые глаза, она добавила: — Язык — вещь очень простая. Ребенок учит его с рождения. Начиная лепетать и агукать, он уже пытается старательно копировать речь взрослых. Только и всего, мистер Гуделл.

— Тогда почему же на свете так много языков? — спросил я. — Почему все люди, аж до самого Китая, не пользуются одним и тем же языком? И как тогда понять эти строки из Библии, где говорится, что каждый в толпе Иерусалима, празднуя Троицын день, понимал другого, на каком бы языке он ни говорил? И что тогда думать о речи пророков или о голосах, что являются нам в сновидениях? Откуда доходят до нас эти слова, в то время как сознание наше бесконтрольно?

В общем, я пожалел, что задал ей тогда эти вопросы, ибо у миссис Доуни не было на них ответов, а потому вместо продолжения разговора она озадаченно нахмурилась и, издав некий звук — я не стал бы называть его фырканием, однако он явно свидетельствовал о ее желании отделаться от меня, — принялась кроить маленькое платьице для своей дочурки. Женщины по своей природе не склонны к размышлениям. Они предпочитают жить настоящим. Однако именно эти мои научные изыскания, показавшиеся столь непонятными миссис Доуни, привели меня к той ужасной истории с Виктором Франкенштейном, и не просто привели, но и сделали ее непосредственным участником, что впоследствии полностью изменило мои представления о жизни.

Тем не менее, начало этой истории относится ко времени, которое не требовало от нас особого напряжения и в котором я вижу себя человеком, вполне удовлетворенным своим существованием. Война с Францией закончилась, страна вернулась к мирной жизни.

Оглядываясь назад и пытаюсь, используя язык науки, описать себя молодого, я представляю собственный образ в виде неоформленной и неопределенной газообразной массы, возникшей, если можно так выразиться, из моих собственных качеств и обстоятельств жизни. Необходим был катализатор, который способствовал бы превращению этих газов в твердую форму — ту самую, какую я обрел впоследствии. Подумать только — все эти изменения случились со мной благодаря изучению филологии! Чтобы разъяснить, как именно это произошло, я и начну, пожалуй, с главного, а именно с описания того самого ноябрьского дня, упоминавшегося мною ранее.

Я шел по берегу Темзы сквозь туман, стремительно сгущавшийся в сумерках, поглядывая по сторонам в тщетной надежде поймать извозчика, который довез бы меня до

Грейз-Инн-роуд, где я, собственно, и обитал.

Пришел я в эту прибрежную часть города пешком, желая нанести визит своему другу Виктору Франкенштейну, дом которого находился на Чейни-Уолк. Я очень пожалел, что решил вернуться домой также пешком, ибо туман сгустился, темнота надвигалась, а я шел в полном одиночестве.

Дорога проходила вдоль северного берега величественной Темзы, и вокруг меня в этот час не было ни души. После тепла и уюта дома Виктора и Элизабет Франкенштейнов меня не очень-то прельщала перспектива прогулки по темным и туманным окраинам Лондона, а потому я ускорил шаг. На фабриках и рыночных площадях, мимо которых я проходил, не было ни души, ибо в это время года темнеет рано. В таком месте любой разбойник и грабитель может подкрасться незамеченным, а у меня с собой не было даже палки.

Вот тогда-то, оглядев прибрежную полосу, увидел я в свете горящего фонаря, установленного на небольшой пристани у дороги, эту массивную и странную фигуру. На каменном причале, выдававшемся в сторону реки, он сгружал огромные ящики и бочки с баржи, причалившей к этой крошечной пристани. Изумленный, смотрел я на эту чудовищную фигуру около шести с половиной футов высотой, облаченную в странное одеяние, напоминавшее длинное потрепанное черное пальто с болтающимися свободно рукавами. Он был без головного убора, и выющиеся пряди его темных волос свободно ниспадали ему на плечи. Когда стоявшая на якоре баржа покачивалась или кренилась набок, человек этот — как ни трудно мне было в это поверить — склонялся прямо к судну, подхватывал с него деревянные ящики и с невероятной легкостью перебрасывал их на пристань. О весе ящиков можно было судить по тому, с каким трудом справлялись с ними напарники великана. Работа, которая требовала от этих людей больших усилий, была для него детской забавой.

Внезапно раздался крик. Кричал один из рабочих, который находился у выставленного на пристани груза, — по-видимому, кого-то задело ящиком или едва не задело. Но великан как одержимый продолжал свое дело, будто не слышал голосов окружающих его людей. Ему крикнули еще раз. Чудовище (он поистине казался мне чудовищем) неуклюже забралось на баржу, подтягивая покалеченную ногу, и продолжило разгрузку, уже стоя на барже. Я видел, как он слегка покачнулся при движении баржи, затем поднял бочонок над головой и практически швырнул его в руки другого грузчика, отчего тот зашатался и едва не свалился с ног. Чтобы осветить место, кто-то поджег на причале кучу досок и просмоленный канат. В тот момент, когда ноздрей моих достиг едкий запах, огонь высветил огромный силуэт, затем замерцал, отнесенный ветром, и опять выхватил из мрака фигуру чудовища, на этот раз выделив ее еще более четко. Темное лицо с тяжелыми челюстями казалось странно изуродованным, как при деформации, случившейся во время родов. Это было одно из тех лиц, глядя на которые сразу понимаешь, что это несчастное создание появилось на свет слабоумным. Глаза его были мне не видны. Они прятались под нависшими бровями. Ветер разметал по плечам его волосы. Я заметил, что он бос — страшное зрелище для такой погоды.

Когда он стоял вот так на раскачивающейся палубе, мне вспомнилась мифологическая фигура полузверя-получеловека. Это невероятное зрелище настолько меня захватило, что я и вовсе забыл о себе: ведь я оказался в непростой ситуации, поскольку шел совсем один, среди тумана и тьмы. Но мне тотчас же пришлось об этом вспомнить, ибо, к моему ужасу, диковинное существо закинуло назад голову и издало вопль, полный невыразимого ужаса.

Не представляю, каким образом можно описать подобный звук. Это был не волчий вой и не звериный рев, а, скорее, вопль человека, испытывающего непереносимые муки. И, продолжая издавать этот звук, он указал рукой с развевавшимся рукавом в моем направлении. Я застыл на месте. Но нет, он не видел меня. Он указывал куда-то дальше, через дорогу, в направлении Чейни-Уолк, откуда я только что пришел.

Барочник, руководивший разгрузкой, которая не прекращалась ни на минуту, отреагировал молниеносно. Мгновение — и он сорвался со своего места, пересек судно, поднял руку с каким-то тяжелым предметом, похожим на дубинку или массивную деревяшку, и с размаху опустил ее на голову чудовища, указывавшего пальцем в мою сторону. После этого, выкрикивая слова, которые я не мог разобрать, он повторил удар еще раз, теперь уже со всей силой, на какую только был способен. Подобные удары, обрушья они на голову обычного человека, запросто могли бы сбить с ног, но чудовище лишь отвело руку с указывавшим на что-то пальцем и, защищаясь от ударов, прикрыло ею голову, а затем как ни в чем не бывало вновь приступило к работе.

Я же, испугавшись внезапно этой картины больше, чем своей одинокой прогулки, поспешил прочь. Мне не страшны уже были разбойники, ибо то, что я сейчас увидел, произвело на меня самое чудовищное впечатление. В этой сцене было нечто ужасающее и жалкое одновременно, нечто противное как человеческой природе, так и цивилизации в целом. Шагая по дорожным ухабам из Челси, я старался убедить сам себя, что передо мной было всего лишь слабоумное, несчастное существо, обделенное природой, с изуродованным телом и лицом, с искаженным разумом. Несомненно, эти люди нещадно его эксплуатировали. Наверняка ему мало платили за работу и беспощадно избивали. Я пожалел его и подумал о том, как же это получается, что Бог, при всей его мудрости, допускает существование столь убогих созданий. Пришла ко мне и вовсе еретическая мысль, что, возможно, мир наш и вовсе не контролируется Богом, а является вечной ареной борьбы между Богом и его противником. Не было ли это создание, увиденное мною на берегу, сотворено как раз в тот момент, когда сила была на стороне дьявола? Человека, высказавшего подобную мысль вслух, раньше сожгли бы на костре.

Я не знал тогда, что встреченный мной незнакомец создан ни Богом и ни дьяволом, что создатель его еще более ужасен — им оказался сам человек.

Я направил свои стопы по пустынной дороге Пимлико к огням Стренд, деловое оживление которой придало мне мужества. Замедлив шаги, я решил заглянуть в «Вояджерз-клуб», что в Ковент-Гардене. Приятная беседа с друзьями у огня придала моим мыслям совсем иной оборот и направила их к теме истоков рыцарства, а также к вопросам происхождения некоторых корней. О сцене, свидетелем которой мне пришлось недавно стать, я даже не упоминал. Она стала казаться мне одной из тех, что производят иногда яркое впечатление, вызванное кратковременным любопытством, но по прошествии времени быстро забываются.

Несколько дней спустя и началась та зловещая история, которую я должен теперь рассказать, а пока разрешите мне вернуться от страшной фигуры, встреченной мной в Челси, к лету, предшествовавшему главным событиям моего рассказа. Я вернусь к тому самому лету, когда весь мир еще пленял меня своей свежестью и красотой и когда я познакомился со своим будущим другом Виктором Франкенштейном.

Виктора Франкенштейна я впервые встретил на поле, где мы играли в крикет. Швейцарец, большую часть жизни проживший в родной стране и в прочих, весьма отдаленных от Великобритании странах, Виктор приехал к нам лишь несколько лет назад. В нашу команду его привел Хьюго Фелтхэм, который учился вместе с ним в Ингольштадтском университете в Германии. Я же встретился и подружился с Фелтхэмом уже в Оксфорде. Так вот, однажды я приехал к Хьюго домой — в Олд-холл, расположенный в Кенте на Лонгтри. Его мама сразу же отправила меня, как и наказал ей Хьюго, на зеленую лужайку, объяснив, что в данный момент именно там проходит ежегодное состязание по крикету между двумя местными командами. «Вы очень нужны сейчас Хьюго, — сказала она мне, — а именно в качестве бэтсмана». Дело в том, что одного игрока, выступавшего в этой роли, переманила на свою сторону команда противника, а второй куда-то уехал, прихватив с собой чужую жену.

Оставив свою лошадь у дома, я направился по радующим глаз тропинкам Олд-холла. Миновав небольшую калитку, я прошел мимо фермерских полей, где под июльским солнцем кукуруза поднялась уже почти в полный рост. Оставив позади церковь, я вышел на деревенскую улочку с кузницей и двумя сельскими гостиницами и в результате оказался на зеленой поляне с могучим дубом, очень похожим по описаниям на тот самый дуб, под которым нашел укрытие Карл I, спасаясь бегством от своих врагов.^[2] И какой же прекрасный вид открылся далее моему взору! На раскинувшейся передо мной, залитой солнцем зелени луга расположились тринадцать мужчин: одни в белых брюках и рубашках, другие в повседневных моескиновых штанах и фланелевых рубашках с закатанными рукавами. Даже оттуда, из-за дуба, я сразу приметил здоровенного парня в коричневых брюках и белой, расстегнутой на груди рубашке, который, примерившись битой, послал мяч высоко в воздух, в противоположную от меня сторону, прямо к небольшой рощице на другой стороне поляны. Раздался радостный возглас Хьюго:

— Отличный удар, Симпсон!

Сам Хьюго растянулся на траве среди собравшихся в группу зрителей и игроков, между которыми было и несколько дам в светлых платьях и соломенных шляпках. Я направился к ним, и Хьюго, заметив меня, вскочил на ноги и бросился мне навстречу. Улыбаясь и протягивая ко мне руки, он хорошо знакомым мне движением откинул со лба длинные волосы и прокричал:

— Джонатан, дружище! Как хорошо, что ты пришел!

— Твоя матушка сказала, что я тебе нужен, — ответил я.

— Еще как, дорогой мой, — подтвердил он. — Мы почти проиграли. У нас осталось только трое игроков. Эти негодники переманили на свою сторону нашего кузнеца. Еще бы — он собирается жениться на дочери капитана их команды! А потом мы потеряли второго игрока, и опять-таки из-за сердечных дел. Он вместе со своей возлюбленной укатил во вторник в Лондон. Для любви нет преград, сам понимаешь.

В воротцах теперь стояли двое: дородный парень из нашей команды, игравший в тот день в отцовских брюках, так как они приносили ему удачу, а также владелец местной гостиницы, который, как оказалось впоследствии, весьма переоценил свои способности. Позже этот последний долго оправдывался, объясняя свою плохую игру тем, что удар мяча был слишком силен для него. Он и ахнуть не успел, как игроки противоположной команды уже радостно кричали: «Готово!»

— Ну вот, пропустил! Теперь твоя очередь, Джонатан, — сказал Хьюго. — Остался

только ты и мой друг Виктор. Давай попросим сделать паузу на несколько минут, пока я вас познакомлю.

После чего Хьюго, подав сигнал капитану другой команды, подвел меня к компании, расположившейся на траве.

Я любил этого парня. Он отличный друг и по-настоящему счастливый человек. Собственно говоря, причин печалиться у него в жизни почти не было. Он вышел из хорошей семьи и получил в наследство поместье, приносящее большие доходы. В семье его все любили. Жена Люси, родившая ему двоих здоровеньких мальчуганов, была очаровательна. И все же, когда я шел за ним через лужайку, мне пришла в голову мысль, что есть натуры, которые, как бы прекрасно ни складывались обстоятельства их жизни, всегда могут найти причину, чтобы почувствовать себя несчастными, тогда как другие, и Хьюго был именно из их числа, способны даже в несчастье отыскать нечто утешительное.

Итак, мы подошли к небольшой компании. На раскладном стульчике сидела Люси, мальчики расположились у ее ног. Отец моего друга удобно устроился на стуле, специально для него принесенном. После того как мы обменялись приветствиями, Хьюго сказал:

— А теперь познакомься, пожалуйста, с моим другом Виктором Франкенштейном и его супругой Элизабет, которую все мы очень любим.

Так произошла моя первая встреча с Виктором Франкенштейном. Сначала я подошел к его жене, очень милой, замечательно одетой блондинке, сидевшей на раскладном стульчике с очень похожим на нее мальчиком примерно двух лет, который устроился у нее на коленях, а затем к Виктору, поднявшемуся, чтобы со мной поздороваться.

Передо мной стоял высокий, хорошо сложенный человек с темно-коричневыми волосами, овальным лицом, слегка загоревшим на солнце, и с большими карими глазами, живыми и отзывчивыми. Он улыбнулся, обнажив белые ровные зубы, и крепко и решительно пожал мне руку. На первый взгляд казалось, что боги сотворили его с улыбкой на устах; он производил впечатление человека достойного во всех отношениях. Позднее он показался мне серьезным и меланхоличным, ему слегка доставало непринужденности и юмора, которые так высоко ценят англичане; однако этот недостаток его нисколько не портил.

Но в тот солнечный день, когда Хьюго вложил мне в руку биты и подвел к краю поля, а Виктор улыбнулся и заговорил со мной, я не заметил и следа этой присущей ему глубокой грусти.

— Вперед! Ваша очередь действовать, — сказал он, а затем добавил: — Поговорим позже. Я довольно много времени провел за границей, изучая языки. Хьюго говорил мне, что вы серьезно увлекаетесь этим предметом.

— Действительно, мне это очень интересно, — ответил я, и мы разошлись в разные стороны.

Есть читатели — и их не так уж мало, — которых может утомить подробное описание игры в крикет. Они заскучают от всех этих рассказов о том, как «мы стояли до последнего» или «шли стеной на стену», а потому я сразу перейду к результату: в этой игре наша команда потерпела поражение. Лихо закрученный мяч, посланный твердой рукой кузнеца, все-таки решил исход дела. Хьюго, направляясь вместе со мной к Франкенштейну, объяснил, что он вынужден был ввести Виктора в игру в последнюю очередь, дабы не обидеть местную публику, которая могла решить, что он намеренно привез талантливого иностранца, чтобы выиграть матч. Поначалу я довольно скептически отнесся к заявлению о талантах Франкенштейна, так как знал, что он не обучался игре в крикет с юных лет. Но, несмотря на

это обстоятельство, оказалось, что Виктор являлся одной из тех одаренных натур, которые отличаются природной координацией и точностью удара, а потому способны блеснуть в любой игре, нуждаясь при этом лишь в небольшой тренировке. Высокий и подвижный, не выделявшийся особенно развитой мускулатурой, но крепкий и жилистый, он ловко управлялся с мячом.

Итак, предателю-кузнецу удалось-таки меня подловить, и мы, проигравшие, но не униженные, покинули поле. Солнце уже начало садиться, тень от старого дуба вытянулась, а женщины, почувствовав прохладу, накинули мантильи и шали. В этот час нам с Виктором удалось наконец уединиться для приятной беседы.

Долго не забуду я тот день — с каким же удовольствием я тогда играл! Никогда не забыть мне и ту тихую английскую деревеньку. Дневное веселье к вечеру подкрепилось бочонком пива, припасенным для игроков и зрителей, и лимонадом, приготовленным для дам и детей. Через некоторое время мы удалились и, оставив деревенских жителей веселиться, направились на обед в Олд-холл, смеясь и разговаривая по дороге.

После обеда мы устроились в гостиной, не закрывая двери на террасу. Очаровательная Элизабет Франкенштейн доставила нам огромное удовольствие, спев несколько прелестных песен, а Люси Фелтхэм совсем нас растрогала, исполнив «Ясеновую рощу»,^[3] на что мужская половина не замедлила ответить мощным хором из «Оперы нищего».^[4] После этого гости распрощались. Домочадцы отправились спать, а мы с Виктором пошли в библиотеку, где за стаканом вина проговорили до рассвета. Мы беседовали о науке и об интересовавшей нас обоих филологии. Сам Виктор семь лет провел среди индейских племен Америки и составил словарь, в котором попытался свести воедино их различные наречия. После этого в Бостоне он встретился со своей женой и уже вместе с ней обосновался в Англии.

Теперь, по прошествии многих лет, мне уже не просто в точности припомнить, что и как говорил тогда Виктор. Есть вещи, которые не так-то легко передать. Блеск и живость его ума меня поразили. Ему не приходилось напрягать память, чтобы вспоминать отдельные факты, и он с легкостью переходил от одного предмета к другому, придавая беседе логическую последовательность и стройность. Его манера говорить располагала: он с изумительной точностью подбирал слова; и голос у него был низкий и приятный. Когда поздней ночью или, вернее, ранним утром я все же отправился спать, воображение мое бурлило новыми идеями, подсказанными Виктором. Сколько же всего нового и интересного может сделать человек, если направит в нужное русло свои ум и волю! «Благословен встречавший тот рассвет, молодой же был вдвойне благословенен».^[5] И право, в то утро я был счастлив. Засыпая, я думал о том, какой замечательный был сегодня день. Сколько счастья уготовано нам на этой земле и за что? Этот воздух, и песни, и смех, и полет мысли! Подумать только, каким счастливым был тот день, что стал началом отсчета последовавшей за ним череды самых мрачных и ужасных дней моей жизни.

Бедный Виктор! Трудно поверить, что именно добродетели привели его к такому концу. Как кипела в нем энергия, сколь неустанен был его пытливый ум, неугомонаен дух! А ведь это те качества, которые делают человека великим и приносят столько пользы тем, кто оказывается рядом с ним. Для Виктора же все кончилось полным крахом. Он был из тех, кто создает себе Бога сам, из тех, кто направляет фортуна, кто, разобравшись в любой ситуации, становится хозяином положения и заставляет людей действовать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Он — наследник века предыдущего, когда из-за действий горячих голов пожар охватил сначала Францию, а затем и всю Европу, принеся с собой

разрушение и хаос. Но ошибки тех горячих людей, что смолоду мчались очертя голову в самое пекло, пока не ломали лошадям шеи (или не сворачивали свои), — это долги и последующие тяжбы с кредиторами, это связи с падшими женщинами. Их ждало бесчестье и изгнание. Ошибки же Виктора не таковы. Его грех в его же собственной добродетели, перевернутой с ног на голову. Подняв знамя науки, он бросил вызов богам — и потерял все.

Заснув уже под утро, я в тот день поднялся поздно. Виктор же, как я потом узнал, встал, по обыкновению, рано, так как мог спать очень мало. Я пил на террасе кофе, когда ко мне присоединился Хьюго. Он поинтересовался, не пойду ли я в церковь вместе с его семейством. Виктор и Элизабет уже дали свое согласие. Хьюго сказал, что если соглашусь и я, то Олд-холл явится сегодня в церковь в полном составе — совсем как вчера на игровое поле.

Хьюго спросил, как мы поговорили с Виктором. Я ответил, что еще ни разу не испытывал такого удовольствия от беседы, как этой ночью, и с большим энтузиазмом заговорил об исключительном интеллекте Виктора, о его образованности и живости ума. Таких, как Виктор, сказал я тогда, по моему разумению, и называют гениями, и тот факт, что он занялся филологией совсем недавно, увлекшись прежде естественными науками, укрепил меня в этом убеждении. Хьюго ответил на это не сразу; помолчав немного, он серьезно проговорил: «Ты прав, Джонатан. Когда Виктор появился в Ингольштадте, он был весьма далек от изучения языков». Потом он вдруг повеселел и принялся рассказывать мне забавную историю из студенческой жизни, суть которой состояла в следующем. Однажды Хьюго, будучи молодым и не очень примерным студентом, который учился далеко от дома, потратил больше положенного и из-за этого, да еще по той причине, что деньги из дому запоздали, задолжал порядком своей хозяйке, неумолимой шведке, которая не шла ни на какие уступки английским студентам. Она заявила, что если он немедленно не заплатит за квартиру, то может идти куда угодно. Тогда молодой человек бросился в лабораторию к Виктору и стал настойчиво стучать в дверь в надежде, что тот одолжит ему денег, пока не придет подмога из дома.

— Но он так был поглощен научными изысканиями, — рассказывал Хьюго с улыбкой, — что в итоге так мне и не открыл. Я колотил в дверь минут двадцать, поскольку знал наверняка, что он там, звал его по имени, объяснял, что это я, Хьюго Фелтхэм, — но все тщетно. Я видел свет в окне лаборатории, но Виктор был так увлечен своим делом, что ничего не слышал. Вот какой это человек! Вот как способен он концентрироваться на своей работе!

— А как же ты? — поинтересовался я. — Как у тебя сложилось с этой безжалостной хозяйкой?

— Она таки меня выдворила, — улыбнулся Хьюго. — Я провел пару ночей без удобств, расположившись со всеми своими пожитками на кладбище, пока наконец не прибыли деньги из Англии. Зато после этого я подыскал себе пристанище получше. У новой хозяйки и суп был понаваристее, и хлеб посвежее, и милая дочка в придачу!

— Право, Хьюго, ты из тех людей, которые в любом несчастье способны найти что-то веселое! — воскликнул я в восхищении.

— Однако после этого я не видел Виктора почти семь лет, — заметил Хьюго. — Ибо вскоре после того, как я перебрался на новое место, мне пришлось съездить ненадолго в Англию. Когда же я вернулся в Ингольштадт попытался отыскать Виктора — его и след простыл. Во время моего отсутствия он заболел, серьезно заболел, и уехал домой к семье.

В этот самый момент появился Виктор, одетый как подобает человеку, идущему в церковь. Он пересек лужайку и с улыбкой посмотрел на террасу. Я поздоровался. И вдруг в тот момент, когда я обратился к нему, туча закрыла солнце, и сад сразу стал другим. Все вокруг накрыла черная тень.

Вскоре вся наша компания направлялась в церковь. Мы были в следующем составе: я, Хьюго, его родители мистер и миссис Фелтхэм, Люси с сыновьями, Виктор и Элизабет Франкенштейны. Все мы дружно шествовали среди зелени полей. Когда служба закончилась, каждый из нас, как водится, опустился на колени, чтобы совершить личную молитву, а затем вместе с остальными прихожанами мы вышли из церкви. Однако вышли не все из нас — Виктор так и остался стоять на коленях. Не могу точно сказать, сколько времени его согбенная черная фигура оставалась на одном месте, пока все мы поджидали его снаружи. Жена его ничего не сказала по этому поводу, промолчали и все остальные, хотя я заметил, что Люси Фелтхэм непросто было убедить детей в том, что обеда придется ждать дольше обычного. В конце концов Виктор, серьезный и мрачный, вышел к нам, и мы все направились домой в глубоком молчании. Старшая миссис Фелтхэм сказала, что на обед будут поданы только холодные блюда: она придерживалась того мнения, что и слуги в воскресный день должны отдыхать и ходить в церковь. Когда Хьюго спросил, не станет ли матушка возражать, если мы прогуляемся по берегу, та засмеялась и сказала, что день отдохновения вовсе не представляет собой, в ее понимании, день скорби, когда все ходят с вытянутыми лицами, а дети сидят запертыми в доме, как в тюрьме, и им не разрешается читать ничего, кроме Библии.

Таким образом, более молодые представители нашей дружной компании отправились в этот день после обеда к реке. Здесь-то впервые я и услышал из уст Виктора Франкенштейна имя Марии Клементи.

3

Даже сейчас я так и вижу перед собой дам в легких платьях, гуляющих по берегу, узкую полоску воды, отливающую блеском, пронизанные солнцем кроны могучих деревьев на противоположной стороне реки. Кажется, я слышу смех детей, вижу, как два мальчика постарше в закатанных кверху брючках возятся с сетями на мелководье, а Элизабет Франкенштейн, одной рукой подобрав повыше юбки, держит ладошку своего малыша и ведет его в искрящиеся воды ручья.

Люси Фелтхэм сидит отдельно от нас в окружении всевозможных предметов, которые дамы считают необходимым брать с собой, отправляясь на дневную прогулку. Около нее шляпа, какой-то бальзам от укусов насекомых, яблоки, чтобы покормить лошадей по пути домой. Мы с Хьюго и Виктором сидим на траве в отдалении, потому что дамы предпочли сохранять дистанцию с Хьюго из-за его старой трубки. Сейчас он выпускает кольца дыма в кристально чистый воздух и наблюдает, как они плывут над водой, чтобы исчезнуть наконец среди крон деревьев. Довольные, мы сидим в тишине, пока Виктор не поворачивается ко мне и не говорит:

— Джонатан, после нашего разговора вчера вечером мне в голову пришла одна мысль. Не захотите ли вы присоединиться ко мне и провести один научный эксперимент, который я замыслил?

— Я посчитал бы за счастье это сделать, — с горячностью ответил я.

Хьюго, обрадованный тем, что наша дружба с Виктором зародилась благодаря ему, лучистым взглядом окинул нас обоих.

— Двое моих самых умных друзей заключают союз, — сказал он. — Какие интересные перспективы это сулит!

— Ты слишком высокого обо мне мнения, — заметил я без тени лукавства. У меня были, конечно же, некоторые способности, но они не шли ни в какое сравнение с обширными и точными знаниями, которыми владел Виктор, причем в самых различных областях. Там, где он шагал свободно и уверенно, я ковылял за ним, как едва научившийся ходить младенец.

— Дело касается мисс Марии Клементи, — продолжил Виктор, — о которой вы, несомненно, слышали.

Еще бы! Кто в наши дни о ней не слышал? Как-то весной она приехала в Лондон, чтобы выступить на Друри-лейн,^[6] и вызвала настоящую бурю, исполнив роль Полли Пичем в «Опере нищих».^[7] Был случай, когда у театра в надежде достать билеты собралось шесть тысяч человек, и директор театра, испугавшись толпы, вызвал полицию, чтобы обеспечить порядок. Клементи приглашали все, и толпа поклонников следовала за ней повсюду. Ходили слухи, что один из них разбился до смерти на Бонд-стрит, так как упал и, ударившись головой, пробил себе череп об угол здания, а все из-за того, что залез к приятелю на плечи, дабы увидеть мисс Клементи, проезжавшую мимо в экипаже. Когда она пела, голос ее был необыкновенно чист и сладостен. Она с такой легкостью брала самые высокие ноты, что казалось, будто поет не человек, а райская птица. Ее очаровательное лицо и фигура, ее элегантность в танце пленяли всех. Грация, легкость и гибкость, присущие этой женщине, делали ее похожей на ангела. Трудно было представить, что перед нами обычная смертная. Мне довелось видеть ее в роли Поли Пичам. После этого спектакля я вернулся домой совершенно околдованный, грезя лишь о ее невесомом теле и чарующем голосе. С тех пор я стал, как откровенно сказала мне тогда миссис Доуни, моя квартирная хозяйка, рабом Марии Клементи. Но такими же рабами, как я, ответил я ей тогда, стали все мужчины в Лондоне. На что она заметила довольно едко: «Меня это ничуть не удивляет, ведь мисс Клементи не может вымолвить ни слова, а это, вероятно, то самое качество, которое мужчины ценят в женщинах больше всего».

Мария Клементи действительно была нема. Она могла великолепно петь на нескольких языках, а вот способностью общаться с людьми она не обладала. Говорили, что она обычно понимала обращенные к ней слова, а если чего-то не могла понять, то на лице ее появлялась очаровательная загадочная улыбка. Не было никаких очевидных оснований для ее молчания. Одно время даже поговаривали, будто она специально притворяется немой по причинам, одной ей ведомым. Подобные разговоры сразу прекратились после одного выступления, когда певица слишком близко подошла к горящим у рампы светильникам и ее легкое платье в один миг вдруг оказалось объатым пламенем. Несколько секунд, когда оркестр перестал играть, а со стороны публики раздались крики ужаса, грациозная фигура Марии Клементи продолжала стоять объятая пламенем. Несмотря на застывший на лице певицы испуг, из губ ее не вырвалось ни единого звука. Она лишь судорожно схватилась руками за горло, но при этом не издала ни крика, ни мольбы о помощи. Лишь через несколько секунд откуда-то со сцены на хрупкую фигурку было накинуто пальто. К счастью, мисс Клементи почти не пострадала. Новсе тогда поняли, что если б она способна была издать хоть какой-то звук, то

он непременно бы вырвался в тот страшный миг из ее груди.

То ли из-за этого ее несчастья, то ли благодаря ее характеру, но за певицей закрепились прекрасная репутация.

В то время на подмостках, по словам одного из журналов, царил «мишурный блеск». На сценах Англии тогда не было артистов, имена которых стоило бы запоминать, тогда как жители континента гордились своими Россини, Беллини, Веберами — подлинными музыкальными гениями. Наших же композиторов можно было пересчитать по пальцам. У нас даже «Макбета» тогда ставили с пантомимой и танцами между актами, не говоря уж о спектаклях с участием Мастера Бетти, этого «малыша Росциуса»,^[8] и ему подобных детишек, игравших в свои девять лет Гамлета и Офелию с такой невообразимой кутерьмой и пошлостью, что иностранцы в ужасе убегали из театров.

О, все эти коломбины и афродиты, почитаемые более за бюсты и ножки, чем за талант! О, эти ромео и джюльетты, представленные в балетах-пантомимах, короли лиры, которых играли дети! Как сокрушались мы о тех днях, когда на подмостки выходили такие артисты, как Гаррик,^[9] когда музыкой — не важно, серьезной или легкой, — слушатель мог насладиться без неуместных перерывов и балетных вставок, без низких шуточек и свистков, которыми зрителей кормили, как детей, нуждающихся в бессмысленном разнообразии и контрасте.

Естественно, что в этой атмосфере абсурда, жадности до новизны, молодости и красоты, любая актриса, оказавшаяся на вершине славы, могла потерять голову. Но мисс Клементи и при таком окружении умудрялась сохранять вдохновение и артистизм, и она с достоинством выносила их на лондонские подмостки.

По всем сведениям, которые о ней имелись, она вела жизнь тихую и спокойную вместе с преданной ей компаньонкой и регулярно посещала церковь. Однако ни в одну из церквей она не приходила дважды, ибо если б в ее посещениях какого-либо места стала наблюдаться некоторая регулярность, то там сразу же появились бы толпы поклонников. Было очевидно, что она старается не появляться в обществе, не заводит любовников и избегает места, которые особенно любят посещать актрисы, как то: бега, призовые бои, игорные дома, — словом, такие места, куда порядочным дамам путь заказан. Не исключено, что от всех этих вольностей удерживал актрису ее недуг.

Услышав, что Виктор упомянул имя мисс Клементи, я поначалу очень удивился. Но потом, как мне показалось, я понял, какими соображениями он руководствуется, и спросил:

— Вы хотите восстановить ее голос?

— Да, восстановить, а может быть, дать ей голос, которого у нее не было, — ответил он. — И если наша попытка увенчается успехом, представьте, какую пользу мы принесем мисс Клементи! Она сможет вести нормальный образ жизни, обрести друзей. Но этим делом не ограничивается, Джонатан. Есть еще кое-что, и именно поэтому я хочу, чтобы вы подключились к этому эксперименту. Представьте, Джонатан, нет, вы только представьте себе, какие данные окажутся в наших руках, если мы научим говорить человека, до сих пор не владевшего голосом! То, что она поет чужие слова, выходя на сцену, — не в счет! Представьте, как она постепенно обретет дар речи! Как много нового узнаем мы о грамматике, о значении слов и о том, что за ними стоит, даже если просто окажемся очевидцами того, как немая женщина начнет говорить? Представьте себе, что вы изучаете взрослого человека, который сможет рассказать вам все, что происходит в его сознании, когда он осваивает речь! Такой шанс выпадает только раз в жизни!

— Подобный научный эксперимент неприятным не назовешь, — весело заметил Хьюго. — Это вам не глазное яблоко разрезать или играть с какими-нибудь ядовитыми газами. Много нашлось бы мужчин, готовых заплатить за возможность просто посидеть в одной комнате с мисс Клементи под каким угодно предлогом. А ты, Джонатан, холостяк. Я настоятельно тебе советую взвалить на плечи эту ношу.

Я тут же заверил друга, что знаю свое дело. Если наука потребует, то ради нее я готов составить общество одной из самых прекрасных женщин Лондона и не собираюсь уклоняться от этой участи. Затем я обернулся к Виктору и поинтересовался, как получилось, что мысль о подобном эксперименте пришла ему в голову.

— Несколько месяцев назад я был в театре, где пела мисс Клементи. Это было вульгарно поставленное произведение, в основе которого лежали темы из комедии дель арте,^[10] и только участие Марии Клементи спасло этот спектакль. Конечно, я знал о том ужасном случае в театре, когда загорелось ее платье, и о том, что она, несмотря на страшную боль, не смогла произнести ни звука. Мне пришло тогда в голову, что немота не просто лишает ее возможности общаться, но и представляет для нее особую опасность в тех ситуациях, когда возникает необходимость позвать на помощь. Мною овладела жалость к этому несчастному созданию, которое, при всей своей красоте и таланте, не обладает способностью, которая присуща всем нам и воспринимается нами как должное. Мне было известно, что она обращалась за помощью в самые разные места и что, какие бы советы и лечения за этим ни последовали, все оказалось бесполезным. Я написал мисс Клементи и предложил свою помощь. Я сказал, что хочу посредством определенных тренировок научить ее говорить, и надеюсь, что, несмотря на все предыдущие неудачи, в этот раз все получится. Мною были даны заверения в том, что, если только она окажет мне честь и ответит согласием, я с величайшей радостью подготовлю все, чтобы наша первая встреча состоялась. Сначала ответа не было, однако дней десять спустя ко мне зашла ее компаньонка, достойная женщина лет сорока, вдова капитана, который, как я слышал, воевал с Наполеоном. Она рассказала мне, что после того пожара мисс Клементи пребывает в состоянии глубокой меланхолии. Поначалу на вопрос о том, в чем причина ее печали, Мария отказывалась отвечать. Однако уныние не отступало, и компаньонка наконец спросила ее, не немота ли тому виною. Мария тяжело вздохнула и, кивнув, показала на горло. Тогда компаньонка, миссис Джакоби, достала мое письмо и спросила мисс Клементи, согласна ли та принять помощь и попытаться восстановить голос. Получив одобрение певицы, женщина сразу же пришла ко мне. Оказалось даже, что обе дамы прослушали мою лекцию о структуре языков и об их взаимосвязях.

— Вы читали ее в Королевском обществе в июне, — вмешался я. — Я узнал об этом из газет. Это было исключительное событие. Ведь тогда в зале собралось самое блестящее общество Лондона — как выдающиеся ученые, так и светские знаменитости! Наверное, сам король там присутствовал. Не об этой ли лекции идет речь?

— Да, его высочество удостоил меня такой чести, — ответил Виктор.

— И вы встречались с мисс Клементи?

— Один раз, — ответил Виктор с сожалением, — но мы далеко не продвинулись. Поэтому-то я и прошу вашей помощи, Джонатан. Мне очень нужен такой человек, как вы, талантливый и знающий.

— А какова же мисс Клементи? — поинтересовался Хьюго.

— Она прекрасна, — ответил Виктор. — Изящна, одета просто и обладает прекрасными

манерами. Она была у меня всего один раз, но — увы! Как я ни старался, она только вздыхала, делала попытку заговорить, опять вздыхала и снова пыталась что-то сказать, но все безуспешно! В конце занятия она смотрела на меня с такой печалью и отчаянием, что вынести ее взгляд было просто невозможно. Если вы, Джонатан, сможете присутствовать на наших встречах, анализировать их и затем сообщать мне о результатах ваших наблюдений, я буду вам очень признателен.

Польщенный и полный энтузиазма, я от всего сердца согласился принять предложение Виктора, и мы договорились, что я непременно буду присутствовать в следующий раз, когда мисс Клементи нанесет ему визит в Лондоне. Однако до того как это случилось, прошло еще два месяца.

Весь август я провел со своей семьей в Ноттингеме. Говорили, что мисс Клементи с компаньонкой находилась все это время на водах в Германии, где она отдыхала после напряженного концертного сезона в Лондоне перед тем, как поехать с выступлениями на континент. Я вернулся в столицу в конце сентября, но в это время мисс Клементи уже проводила турне по Австрии, Германии и Италии, где ее с восторгом принимала публика.

Вернувшись в Лондон, я продолжил спокойно работать над своим словарем арамейского языка. К выполнению этой необъятной и ответственной задачи я приступил со всем энтузиазмом юности лет пять назад, и теперь, по прошествии стольких лет после ее начала, был уже близок к завершению, тем более что этого с нетерпением ждал издатель мистер Хатвей, ибо он собирался опубликовать мой труд.

И вот в пору моей спокойной работы над словарем я обмолвился однажды в разговоре с миссис Доуни о предложении Виктора найти способ излечения Марии Клементи. Здесь необходимо объяснить, что я вот уже два года жил у своей хозяйки в небольшом домике на Грейз-Инн-роуд, занимая пару комнат на этаже, расположенном под спальнями прислуги. Дом был непритязательный, и я оказался единственным, кто снимал в нем комнаты. Спальни миссис Доуни и ее семилетней дочери Флоры располагались этажом ниже, и мы часто обедали вместе в комнатах первого этажа. Миссис Доуни была двадцатисемилетней женщиной, вдовой адвоката. Она оказалась на год моложе меня, и благодаря этому у нас установились дружеские, доверительные отношения.

Конечно, найдутся и такие, кто сочтет подобную ситуацию неприличной: одинокая вдова, проживающая лишь с ребенком и прислугой, берет постояльцем холостяка своего возраста. Нашлись такие критики и в то время. И все же нас такой союз очень даже устраивал. Миссис Доуни, женщина хоть и небогатая, была из хорошей семьи, известной еще с елизаветинских времен, и она сама решала, как ей жить, не спрашивая совета у окружающих. Нам не приходилось вести разговоры о том, что мужчинам и женщинам, честным по природе, не нужны ни дуэньи, ни надсмотрщики, которые стали бы наставлять их на путь истинный. Такое утверждение свободы, вероятно, являлось характерной чертой нашего времени, и в нем, по-видимому, слышались отголоски образа мысли, присущего сторонникам свободы, жившим в прошлом веке. Люди подозрительные и узкомыслящие могут заявить, что мне не следовало проводить столько вечеров наедине с миссис Доуни в ее удобной гостиной, окна которой выходили во двор (столовая располагалась в комнатах со стороны улицы). Но, будучи мужчиной, который прекрасно знает, как хорошо иметь любящих сестер, я привык проводить время в женской компании и получал от этого большое удовольствие, ибо женщины, являясь существами не столь глубокомысленными и знающими, как некоторые мужчины, очень веселы и просты в общении. Мы и вправду часто шутили по

поводу того, что ведем себя как брат с сестрой. Говоря начистоту, мне просто было одиноко, так же как и ей. Поэтому-то у нас и вошло в привычку те вечера, когда ни у меня, ни у нее не было посторонних дел, проводить вместе, сидя в гостиной, каждый за своим занятием: она за шитьем или штопкой, а я за чтением.

Описываемые мною события происходили в конце лета. Мы оба только что вернулись в Лондон: я провел лето в Ноттингеме, а она гостила весь август у сестры и зятя, мистера и миссис Фрейзер, которые жили в Шотландии. И вот как-то вечером, когда мы сидели вдвоем в гостиной, я обмолвился о том, как много жду теперь, после моего возвращения в Лондон, от встречи миссис Марии Клементи и Виктора Франкенштейна, на которой мне, по всей видимости, доведется присутствовать. Я объяснил, каковы причины этой встречи, однако миссис Доуни, вместо того чтобы проявить интерес, подняла лицо от платица, которое она шила тогда своей дочурке, и печально проговорила:

— Возможно, мне не следует давать здесь свои комментарии, но если вы позволите мне, мистер Гуделл, поговорить с вами, как с братом, то я скажу все, что думаю. Это предприятие вызывает у меня сомнения и беспокойство на ваш счет. Я не имею ничего против мистера Франкенштейна, ибо не слышала о нем никогда ни одного худого слова ни от вас, ни от кого-либо еще, да и мисс Клементи имеет блестящую репутацию, но по какой-то непонятной причине этот научный эксперимент с восстановлением голоса меня очень тревожит. Пожалуйста, будьте осторожны и простите мне мрачные пророчества, которые я тут произношу, подобно Кассандре, тем более что для них нет никаких оснований.

На это я с улыбкой ответил:

— Тогда, обращаясь к вам, как брат, я прошу рассказать мне, какие основания у вас все же имеются.

Миссис Доуни вздохнула, опустила шитье на колени и, сдвинув брови, открыто посмотрела прямо мне в глаза.

— Ну что ж, — сказала она, — даже рискуя вызвать ваше неодобрение, я все равно это скажу: я не верю в немоту мисс Клементи.

— Но вы же слышали о том случае, когда загорелось ее платье, а она не смогла издать ни звука, — возразил я.

— Слышала, — согласилась миссис Доуни, и тут в ее тоне появились нотки судьи, возможно перенятые ею у покойного мужа. — Но вы ведь не станете отрицать тот факт, что вследствие шока один человек теряет дар речи, а другой, наоборот, начинает кричать. Но меня беспокоит совсем не это. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что она молчит просто по той причине, что не понимает английского языка и не хочет, что бы это стало известно всем. Хотя исключить вероятность того, что она действительно немая, тоже нельзя.

— Тут все возможно, — ответил я. — Но если вдруг окажется, что она может говорить, но не желает, то что с того? Стоит ли из-за этого беспокоиться, и тем более вам за меня?

— Я не могу объяснить, чем вызвано мое беспокойство, — проговорила миссис Доуни. — Просто у меня та кое ощущение, что вас затягивает в омут.

— Мужчина должен заглянуть и в омут, если хочет обрести мудрость и познать истину, — легкомысленно и беззаботно ответил я. — Если все мы будем резвиться на мелководье, то кто же тогда будет делать открытия?

Моя милая хозяйка опять взяла в руки шитье, но она не приступала к работе, а только задумчиво смотрела на нее, нахмутив брови. Затем, обращаясь скорее к красному платицу, которое она держала в руках, чем ко мне, миссис Доуни проговорила:

— Меня немного удивило, когда вы рассказали, что мистер Франкенштейн так долго стоял в церкви на коленях после службы, на которой вы тогда присутствовали. По вашим словам, он провел в церкви еще минут двадцать, после того как все разошлись.

— Странно, что вы именно это ставите человеку в упрек, — ответил я. — Что плохого в том, что он слишком долго молится в церкви?

— Нет, я не ставлю ему это в упрек. Я лишь хочу сказать, что для меня такое поведение свидетельствует о том, что совесть этого человека нечиста.

— О! — воскликнул я тогда, как помнится мне, с не которым неудовольствием, и даже откинулся на спинку стула, как будто я и правда спорю с одной из своих сестер. — Как же можете вы, женщины, все переворачивать, как умеете вы превратно истолковывать любой поступок, не укладывающийся в общепринятые рамки! Вы боитесь всего, чего не знаете. А ведь мы, мужчины, для того и живем, чтобы раздвигать границы неизведанного, совершать открытия.

Корделия ответила на это сдержанно:

— Возможно, вы и правы, мистер Гуделл. Мне очень жаль, если вас задели мои замечания.

И она вновь принялась за шитье, на этот раз с еще большим прилежанием, так что никакие мои попытки вновь втянуть ее в разговор не имели успеха, и мне оставалось только отправляться спать.

Что касается меня, то, хоть в этом и стыдно сейчас признаться, тогда мне была отчасти приятна мысль, что моя дорогая миссис Корделия Доуни потому так опасается предстоящей моей встречи с мисс Клементи, что боится впечатления, которое та может произвести на меня своей красотой и очарованием. Надо заметить, меня привел в восторг тот факт, что миссис Доуни могла меня ревновать, хоть мы и говорили о наших отношениях как о братско-сестринских. Каким же дураком я был тогда! Ревность ли была тому причиной или нет, однако, как оказалось впоследствии, предчувствие миссис Доуни относительно того, что Франкенштейн и мисс Клементи втягивают меня в чрезвычайно опасное предприятие, в скором времени подтвердилось.

Сейчас, когда я пишу эти мемуары, я иногда забываю, как все мы были тогда молоды. Ни мне, ни Хьюго, ни Виктору не исполнилось еще и тридцати. Корделии было двадцать восемь, а Марии Клементи всего двадцать четыре. И мы были не просто молоды (есть много вещей, которые молодость понимает лучше, должен я признать), а еще и заражены «духом Бастилии» и всеми теми новыми идеями, которые захлестнули в то время Европу. Такова была наполеоновская эпоха, когда короны, королевства, все наши прежние правила и порядки летели кувырком, а мы, молодые, с готовностью выбрасывали их за борт ради обновления мира и ради творчества чистого разума! Так отчего ж не жаждал нам новых открытий, нового миропонимания, нового миропорядка в соответствии с нашим свежим видением? «Давайте разберемся в этом нашем мире, как в старом доме, — думали мы. — Выбросим старые гобелены, сметем паутину, распахнем настежь окна, и пусть льется в них чистый воздух истинных знаний!» Таким мироощущением, сдается мне, я был тогда проникнут и из-за этого не обратил внимания на предостережение миссис Доуни. В этой женщине не было философского резонерства, она не была из числа студентов, попавших под влияние того времени. Она лишь была обыкновенной молодой женщиной с присущим ей интеллектом и величием души, быстро познавшая жизнь из-за раннего замужества, которое особенно счастливым не назовешь, с последовавшим за ним вдовством и заботами о

маленькой дочери. Я же был молодым мужчиной с приличным состоянием, которого до той поры не коснулись превратности жизни. Ее, еще более молодую, чем я, тяжелая утрата и забота о ребенке сделали прозорливой и осторожной, когда дело касалось сложных ситуаций. В этом-то и заключалась разница между ее и моим восприятием жизни.

И вот наступил тот самый день в середине октября, когда я, в соответствии с присланной мне запиской от Виктора, отправился в Челси на первую встречу с Марией Клементи. (Упомянутый мной ранее случай, когда я встретил испугавшего меня уродливого незнакомца, произошел во время другого моего посещения).

В тот приятный яркий осенний день я вышел из дома на Грейз-Инн-роуд. Когда я подходил к Челси, начался прилив, который поднял со дна всю грязь вместе с прибрежной галькой и камнями. Суда разного рода — от барж до яликов, — воспользовавшись приливом, поплыли вверх по реке. Заторопились взять курс даже большие парусные корабли — ветер наполнил их паруса. В такие дни нет ничего приятнее прогулки пешком. С одной стороны несла свои воды река, с другой — раскинулись поля и окруженные садами рыночные площади.

Я волновался при мысли о том, что мне предстоит вместе с Виктором разгадывать загадку мисс Клементи. Меня радовала возможность, которую предоставлял нам будущий эксперимент, — значительно расширить наши знания. Для ученого нет большей радости, чем та, которую дает союз с единомышленником, позволяющий раздвинуть границы понимания. Должен также признать, что, поднимаясь к Виктору по ступеням его шикарного дома, величественно возвышавшегося на Чейни-Уолк, я отнюдь не был против знакомства с прекрасной Марией Клементи — жемчужиной, украсившей мировую сцену.

Виктор сам открыл дверь и пригласил меня в дом. Глаза его горели воодушевлением и живым интересом. Я был пунктуален, а Мария Клементи — более чем пунктуальна. «Она здесь», — сказал мне Виктор и прошел вперед своей легкой пружинистой походкой через роскошный, отделанный мрамором зал, а затем поднялся по красивой извивающейся лестнице в гостиную с высокими окнами, выходившими на дорогу и реку.

Мария сидела в низком, обитом парчой кресле, придвинутом к ярко пылавшему камину, искусно выложенному мраморными плитками. Она была миниатюрной женщиной с очень темными волосами, уложенными так, что черные их завитки напоминали прически *la victitne*^[11] или *la guillotine*,^[12] столь популярные удам времен Великой французской революции, названия которых соответствовали их беспорядочному стилю. У Марии же волосы были собраны на макушке в небольшой пучок и перевязаны простенькой красной ленточкой. Завитки обрамляли ее лицо и наполовину прикрывали маленькие красивые ушки. У нее были очень большие темные глаза, обрамленные густыми черными ресницами, овальное лицо, прямой маленький нос и очаровательные розовые губы, изогнутые сейчас в милой улыбке. Носила она простую шляпку бледно-серого цвета и свободное шерстяное платье того же оттенка. Кружевная шаль, накинутая на плечи, узлом была завязана у нее на груди. Если бы не полная достоинства поза, говорившая, несмотря на ее безмятежность, о сильной мускулатуре танцовщицы, Марию можно было бы принять за очаровательную молодую даму среднего класса.

Когда я вошел, глаза женщины были опущены, но, как только ей представили

Джонатана Гуделла, она подняла их и посмотрела прямо на меня. Взгляд этот произвел впечатление, отличное от того, которое я ожидал. Глаза Марии, как я уже говорил, были огромными, темными и очень красивыми. Я полагал, что ее взгляд покорит меня, пленит. Я ждал его с нетерпением, предвкушая радость, тот особый эффект, который произведет на меня этот взгляд, когда я впервые посмотрю в глаза Марии Клементи. Однако когда наши глаза встретились, первым испытанным мною чувством было почтение. Я встретился с тем, что мы называем «говорящим взглядом», когда глаза позволяют вам понять эмоциональное состояние собеседника. Он более характерен для женщин, чем для мужчин, ибо у последних взгляд отражает, скорее, работу мысли. Глаза Марии даже не говорили, наоборот — они не нарушали молчания. Также как не нарушала молчание ее речь. Смотреть в них — все равно что глядеть в темные воды тех бездонных озер, какие бывают только на севере. Один испугается, а у другого вдруг проснется смутное желание броситься в их застывшую, неподвижную бездну. Но тот, кто попытается что-либо разглядеть в этих темных водах, не увидит ничего. Здороваясь с Марией, я думал, уж не та ли самая тишина, в которую погрузила Марию немота, породила это величие и спокойствие ее синевато-серых глаз.

По мере того как я, словно загипнотизированный, смотрел в глаза Марии Клементи, восхищение мое начинало перерастать в страх. Я чувствовал, что мне хочется подойти к ней ближе, смотреть на нее снова и снова и никогда не отводить глаз.

К счастью, на помощь мне пришел Виктор, который представил меня компаньонке Марии миссис Джакоби. Услышав свое имя, эта леди встала со стула, что стоял около окна и, пройдя через всю комнату, поздоровалась со мной. На вид этой женщине было лет сорок. Рост она имела средний, при ходьбе держалась очень прямо, смотрела открыто и производила впечатление дамы, обладающей, как говорится, практической хваткой. На нее явно наложила отпечаток жизнь жены военного, которая повсюду сопровождала своего мужа, обустроивала дом в разных местах, справлялась с любыми тяготами и сложностями. Решительный взгляд ее голубых глаз, встретившись с моим, ясно дал мне понять, как, видимо, давал понять и всем остальным, лишь одно: «Глупости здесь неуместны». После того как я поклонился этой даме и пробормотал в ответ, что очень рад ее видеть, миссис Джакоби сразу же направилась обратно на свое место, оставив нас, то есть меня, Виктора и Марию, у камина втроем.

Мы все расселись: Мария устроилась на свое прежнее место, Виктор — напротив нее, с другой стороны камина, а я занял третье кресло между ними двумя. Не имея ни малейшего представления о том, как Виктор проводил предыдущее занятие, я довольно неловко нарушил молчание, заговорив о том, какой сегодня приятный день и как я шел пешком в Челси от моей квартиры. Я говорил медленно, как будто обращался к иностранцу, и от этого, как мне казалось, слова мои звучали глуповато. Мария склонила голову, показывая, что слушает меня и понимает, о чем я говорю, а когда я закончил, одарила меня легкой, очаровательной улыбкой.

К моему удивлению, после моего рассказа Виктор спросил ее на немецком языке, не может ли она встать и подойти к двери. Мария смотрела на него в замешательстве и, покусывая губы, старалась понять, что он говорит. Затем Виктор снова обратился к ней с той же просьбой, но теперь уже на французском, и Мария, улыбаясь, встала и подошла к двери. Затем она обернулась и, продолжая улыбаться, застыла на месте, ожидая, как мне показалось, одобрения Виктора, которое и получила от него в виде ответной улыбки. После этого он обращался к ней на разных языках, многие из которых я и сам не знал, неизменно

прося ее сделать самые обыденные вещи. Но ни разу, за исключением того случая, когда он на итальянском попросил ее подойти к окну (но и эту фразу ему пришлось повторить несколько раз, выстраивая ее по-разному), она не шелохнулась в своем кресле и не сделала ни шагу. Все это время Мария смотрела на Виктора не отрываясь, и, казалось, усталость ее возрастала.

Закончив свое тестирование, Виктор обернулся ко мне и спросил:

— Смотрите, разве не любопытно, что мисс Клементи знает английский, французский и, по всей видимости, несколько слов из итальянского, а прочие языки не понимает вовсе?

Я кивнул в некотором смущении. Мария была с нами и, вполне естественно, могла понимать все, о чем мы говорим, тем не менее, мы позволяли себе обсуждать в третьем лице даму, в обществе которой находились. Так иногда ведут себя по отношению к детям или очень старым или больным людям. Подобное поведение в присутствии молодой женщины, хоть и немой, но находящейся в здравом уме, показалось мне странным. Я в свою очередь спросил:

— А говорили ли вы раньше с мисс Клементи на разных языках?

Виктор ответил отрицательно.

Тогда я обратился к Марии, поинтересовавшись, знает ли она французский с детства или выучила его позднее. Она очень мило пожала плечами — жест, означавший, что она либо этого не знает, либо не понимает моего вопроса. Миссис Джакоби со своего места у окна заметила:

— Мисс Клементи поет на всех языках!

— Поет, как попугай, — отметил Виктор, — ибо очевидно, что она понимает только французский и английский.

После этого он обратился к Марии:

— Мисс Клементи, приступим теперь к упражнениям?

Вначале он принялся за согласные звуки. Он тренировал певицу по системе, которая обычно используется при обучении детей.

— Б-б-б-б. Д-д-д-д. М-м-м-м, — произносил он.

Он заставлял Марию, как заставляли бы мы ребенка копировать его произношение. Но, несмотря на то что губы девушки раздвигались в тщетном усилии сделать то, о чем просил Виктор, ничего не получалось. Она не могла воспроизвести ни единого звука. Я слышал одни только выдохи, перемежающиеся с тяжелыми вздохами, — как грустно было наблюдать зрелище столь контрастное ее выступлениям в театре, во время которых голос ее парил свободно и непринужденно, как, например, в дуэте Полли Пичем и капитана Мачета: «Весь день мы будем наслаждаться, играть и петь и целоваться; за горы, рощи и леса умчимся мы на небеса». Куда делся тот беззаботный дух?

Мария была удручена. Тогда Виктор остановил занятие. Он ничего не сказал, а лишь с упреком посмотрел на певицу. Она сидела смущенная и растерянная.

Наконец Виктор сказал:

— Попробуем еще раз.

И они снова начали работать. Упражнения становились все более трудными, но результат оставался тем же. Я понимал, что нужно найти какой-то способ, благодаря которому Мария должна обрести способность говорить, и что для этого хороши любые средства, даже самые болезненные, — главное, чтобы метод оказался успешным. И все же наблюдать, как с каждой минутой усиливается удрученное состояние Марии, было не очень

приятно. Избавив себя от созерцания столь болезненной процедуры, я отошел к окну и заговорил с миссис Джакоби. Я пытался убедить женщину в том, что, возможно, она, сама того не подозревая, держит в руках ключ от секретного замка, который мы так безуспешно пытаемся открыть. Тем временем Виктор принялся за гласные:

— А-е-и-о-ю... — произносил он. — Ну давай же, Мария, давай!

— Миссис Джакоби, как вы полагаете, прежние попытки мисс Клементи восстановить речь продвинули ее хотя бы на шаг к успеху? — спросил я.

Миссис Джакоби покачала головой и уверенно сказала:

— Надежды у нас были большие, особенно после того, как Мария немного отдохнула и стала работать над упражнениями... — добавила миссис Джакоби уже менее уверенно и понизила голос.

— Упражнения были такого же типа, что и сейчас?

— Да. И еще один вид упражнений, связанных с дыханием, — ответила она.

— Настоящая загадка, — пробормотал я. — Никаких явных нарушений у мисс Клементи нет — ведь она прекрасно поет! Только вот говорить никак не может. Скажите, миссис Джакоби, неужели она никогда не произнесла ни единого звука, не считая пения? Никогда не зарыдала, не застонала, не рассмеялась? Может, она разговаривает или издает какие-нибудь звуки во сне? — Я заметил, что на моих последних словах миссис Джакоби бросила на меня внимательный взгляд. За этим последовала длительная пауза, в течение которой она оценивающе разглядывала меня, словно новобранца, прибывшего в военное подразделение. После этой паузы она сказала:

— Вы поклянетесь, что сохраните сказанное мной в секрете?

Я ответил, что не могу клясться, пока не пойму, о чем именно идет речь.

— Ну что ж, — сказала она, покривившись, — значит, вы этого никогда и не узнаете.

Но тут мое любопытство взяло верх, и я произнес:

— Коль скоро речь не идет о каком-то преступлении и сокрытие тайны не причинит никому вреда — я клянусь никому не рассказывать об услышанном.

— Вот это другое дело, — сказала она тоном командира, заправляющего на поле брани. — Тогда я скажу вам. Никогда я не слышала, чтобы Мария Клементи произнесла хоть одно слово или издала хоть один звук... и только однажды ночью я слышала, как она кричала от страха, находясь в сонном бреду.

— Вы кому-либо об этом рассказывали? — спросил я.

— Нет, — прозвучал ее ответ. — Раньше мне казалось, что Марию вполне устраивает собственная немота, но последнее время мне стало казаться, что такое состояние все больше и больше ее угнетает.

— А мистеру Франкенштейну вы не говорили о тех ее криках? — спросил я.

Она покачала головой. Настал мой черед изумляться.

— Не забывайте, что вы обещали, — предупредила она.

— Но ведь мистеру Франкенштейну просто необходимо об этом знать, — с упреком произнес я. — Почему вы не сказали ему?

Она не ответила, так как в этот момент Виктор встал и проговорил, обращаясь, по-видимому, больше к нам, чем к Марии:

— Думаю, на сегодня достаточно. Мисс Клементи не следует чрезмерно утомляться. Насколько я знаю, сегодня вечером она выступает в «Ацисе и Галатее». [\[13\]](#) Миссис Джакоби, если вы придете на следующей неделе, то мы с мистером Гуделлом обсудим ситуацию и

продумаем дальнейшие планы.

Так прошла первая проведенная нами консультация (если это так можно назвать). Мария казалась совсем бледной. На прощание она нежно пожала мне руку, тогда как миссис Джакоби сделала это более энергично, высказав надежду встретиться со мной на Чейни-Уолк в следующий раз.

После их ухода Виктор казался озабоченным и погруженным в свои мысли. Покусывая губы, он предложил:

— Не хотите вина?

Я отказался. Мы сели и приступили к разговору.

— Все это чрезвычайно странно. Я знаю — она может говорить! Я в этом убежден. Иногда я чувствую, что мисс Клементи просто отвергает мою помощь. Ее старания воспроизвести звуки впечатляют, но она старается не в полную силу. Боюсь, что она меня просто обманывает. Как актрисе ей ничего не стоит симитировать свои старания. Я должен, обязательно должен найти ключик, что бы открыть эту дверь... Иначе я ее сломаю! — Он сделал глубокий вздох и нетерпеливо продолжил: — Я действительно не понимаю, что происходит. Нигде в литературе я не сталкивался с подобными случаями. А представляете, дорогой мой Джонатан, как много нового мы узнали бы о структуре языка и о его связи с сознанием человека, если бы добились успеха в этом деле?! — Он ударил кулаком одной руки по ладони другой, а я подумал о том, что, будь на его месте другой мужчина, он разразился бы сейчас руганью и проклятиями.

Я почувствовал себя виноватым в том, что скрываю информацию, которую сообщила мне миссис Джакоби. Виктор ведь не знал, что Мария кричала во сне. Но я дал слово, и не мог его нарушить. Более того, у меня сложилось впечатление, что просьба миссис Джакоби состояла в том, чтобы я не сообщал об известном мне факте не кому-нибудь, а именно Виктору. Это казалось мне в высшей степени абсурдным. Почему это весь мир может знать о том, что у Марии Клементи есть голос, а именно Виктор, человек, который хочет ей помочь, об этом знать не должен? И все же сделать в этой ситуации я ничего не мог.

— Вы установили, что мисс Клементи знает два языка и не знает прочих, — заметил я. — Это факт интересный. Отсюда мы можем сделать вывод, что она понимает речь так же, как и все остальные люди. Она знает языки, с которыми сталкивалась в жизни или которые когда-то выучила. А известно ли вам что-нибудь о ее прошлом? Откуда она? Кто ее родители?

— О ней имеется очень мало сведений, — ответил Виктор. — Понятно, что сама она не может рассказать людям о себе. Кажется, несколько лет назад в Ирландии Марию нашел тот самый человек, который теперь представляется ее импресарио. Он-то и привел ее к знамени тому мистеру Роберту Эллистону, управляющему театра на Друри-лейн, который с радостью за нее ухватился. Так началась ее карьера.

— Мария Клементи — ее настоящее имя?

— Думаю, оно придумано ее импресарио мистером Габриэлем Мортимером совместно с мистером Эллистоном, — сказал Виктор. — Наверное, ее настоящего имени не знает никто.

— Кроме нее самой. Но сообщить его она не может, — подтвердил я. — Какие же страшные и печальные времена пришлось ей пережить.

— Это самое прекрасное и талантливое существо на свете, — заметил Виктор. — Уникальное существо. Исключительное. И осознание этого — достаточная компенсация за

мои труды.

Возразить на это я не мог.

Затем я задал Виктору вполне резонный вопрос: может ли Мария общаться, излагая свои мысли в письменном виде. Однако в те времена, в отличие от нынешнего просвещенного века, мало кто мог читать и писать, поэтому меня не очень-то удивило, когда Виктор сообщил, что Мария почти безграмотна. Я же высказал предположение, что процессу восстановления голоса мисс Клементи совсем не помешает, если мы научим ее читать и писать. Изучение слов в их письменном виде могло помочь певице научиться лучше концентрировать свои внимание и волю во время занятий и подстегнуть ее желание произнести эти слова вслух. Даже если эта затея не произведет должного эффекта, Мария все равно не останется в проигрыше, ибо научится выражать свои мысли в письменном виде. Однако к работе в этом направлении Виктор не проявил особого энтузиазма.

— Миссис Джакоби сетовала, что Марию, хоть и с трудом, можно уговорить написать несколько каракулей. Так что в принципе она способна это сделать и без нас. — И он задумчиво добавил: — Итак, не может или не хочет — этого я не знаю. Притом что девушка эта кажется такой очаровательной и милой, нельзя сказать, какова она в душе, и не исключено, что внутри у нее много сопротивления и упрямства.

Я же в свою очередь подумал, что Виктор, оказавшись в роли учителя, не может удержаться от обвинений в адрес ученицы, не способной добиться успеха, хотя на самом деле он обязан подумать над вещами, которые побудили бы ее к более активным действиям.

— Вы же не можете утверждать, что она притворщица, которая может писать, но не желает, которая умеет говорить, но почему-то молчит, — сказал я в недоумении.

— Нет, — ответил Виктор. — Но ведь должно же быть хоть что-нибудь... хоть какой-то механизм, который заставил бы ее говорить!

Я видел сейчас в нем того несгибаемого энтузиаста, того упрямого студента, который не может поверить, что в мире есть люди, неспособные к обучению. Для него это была битва, и он должен был ее выиграть. Но тут, к счастью, мне на выручку подоспела жена Виктора, которая вошла в комнату и предложила нам чаю. Франкенштейн начал вести себя непринужденнее, и сама атмосфера стала более радушной. Наши мысли приобрели рациональный оборот: мы старались определить, каким же путем можно заставить Марию заговорить. Нам пришла в голову интересная мысль: надо будет сначала попросить ее спеть, а потом заставить произнести отдельные слова из песни, уже не пропевая их. При всей своей простоте этот план мог оказаться эффективным.

На этой неделе мы не продолжили работу, так же как и на следующей, поскольку Мария разучивала новую оперетту маэстро Вали «Месть Геры» и столкнулась в этой работе с некоторыми трудностями. Количество репетиций пришлось увеличить, в результате чего мы встретились с ней в той же самой маленькой гостиной на Чейни-Уолк примерно через месяц, в один из мрачных ноябрьских дней.

Несмотря на горевший в камине огонь, туман с реки, казалось, пробрался прямо в комнату, создав в ней мрачную атмосферу. Все та же миссис Джакоби, теперь уже в толстой шотландской шали, сидела у окна. Мария была на своем прежнем месте у огня, Виктор все так же напротив, а я — посередине.

Виктор объяснил Марии наш план: она должна начать с песни, а затем перейти на речь. Казалось, она поняла его слова, однако явно им не обрадовалась. Возможно, ей не понравилась сама идея, хотя не исключено, что она просто не поверила в ее успех.

Как бы то ни было, я, вспомнив наши счастливые вечера в Олд-холле, где все мы дружно распевали «Молодость — веселая пора» из «Грошовой оперы» мистера Гая, заявил, что мне очень хотелось бы услышать, как Мария споет что-нибудь из этого музыкального произведения. Та любезно согласилась.

Никогда не забуду я, несмотря на все последующие события, ее маленькую, стройную фигурку, стоявшую у камина, не забуду тот чарующий голос, что зазвучал, когда начала она петь, не забуду ее прекрасное, точеное личико и огромные грустные глаза, поднятые немного кверху. Не забуду я, как ниспадали на это милое личико легкие черные завитки ее волос, совершенный контур ее алого рта, из которого без малейших усилий исходили прекрасные звуки песни, наполнявшие собой унылую туманную комнату.

Танцуйте и пойте, чтоб времени легкие крылья
Не унесли сей весны изобилье.
Так пойте и смейтесь сегодня, сейчас —
Любви и веселья не длителен час!

Вероятно, именно в этот миг я был покорен, околдован ею до такой степени, что предположения Корделии Доуни относительно мотивов, побудивших меня помогать Виктору в работе с Марией Клементи, казались правдой. Я сидел как зачарованный и желал только одного: чтобы это совершенное, нетронутое создание (ибо именно таковой она мне представлялась) стало моим.

Что-то внутри меня распознало опасность и настойчиво твердило мне, что передо мной актриса, а не женщина, к ногам которой можно положить свою любовь. Но я не слушал свой внутренний голос. Желание разгоралось во мне с новой силой. Когда она закончила песню, я испытал благоговейный трепет, оттого что именно на мою долю выпала такая привилегия: сидеть в этой обычной комнате и слышать пение Марии Клементи. В то же время я страстно желал эту женщину, и, что бы потом ни происходило, желание это во мне не угасало. Конечно же, она была актрисой, и к тому же немой. Но оба эти факта никак не противоречили моим мыслям о том, что она может стать моей. Я ведь мужчина, а значит, думаю точно так же, как и все мужчины: чем я хуже других?

Мы с Виктором должны были приложить все усилия. Выбранная нами песня как раз соответствовала поставленной задаче: она была довольно простой и приятной. Теперь оставалось лишь удалить музыку и оставить живую речь. Сначала следовало проговорить песню, как речитатив в опере или как псалмы — нечто среднее между речью и пением. Казалось, это совсем не сложно, но не тут-то было. Мария спела первую строчку исключительно чисто, точно так же она могла бы спеть ее и в миноре, если б это потребовалось, но расчленить песню на слова она, казалось, никак не могла. Певица воспринимала музыку и слова в неразделимом единстве и ничего не могла с этим поделать. Просить ее разорвать фразу на составляющие — все равно что заставлять птицу прервать в определенном месте свое пение, замедлить его или исполнить каденцию. Как не способна на такое птица, так не способна на произнесение слов вне музыки и Мария.

Мы старались изо всех сил добиться хоть каких-то изменений, но тщетно. Тогда мы перешли к псалмам. Однако Мария не могла «растягивать» псалмы, как и не могла «проговаривать» песни, хотя голос ее взлетал к небесам и спускался на землю, как голос

ангела. Прошел один час, другой. Виктор стал высказывать свои требования все резче, а Мария уже совсем устала. Я случайно взглянул на миссис Джакоби и по ее виду понял: она сожалеет о том, что дала согласие на этот эксперимент. Виктор, засомневавшись в успехе дела и почувствовав, как в усталости растворяется последняя надежда, стал действовать еще более решительно. Я же из помощника ученого постепенно превращался в свидетеля самого настоящего сражения. Именно тогда Мария без всякого принуждения неожиданно запела. Это была мрачная песнь из оперы Перселла «Дидона и Эней».^[14]

В ней покинутая королева Дидона обращалась к Энею с такими словами: «Когда положат меня в землю, пусть не давит мне на сердце тяжким грузом то зло, что я причинила. Помните обо мне — но забудьте о моей судьбе».

Я затаил дыхание. Взглянув на Виктора, я увидел, как он весь напрягся и побледнел. В этот момент он походил на человека, пережившего сильное потрясение. Но вот он пришел в себя и стал врываться в пение, вставляя не увязывающиеся с мелодией слова и требуя от Марии их повторения.

— ... зло, которое я причинила. Помните обо мне... — говорил Виктор.

— Помните обо мне, — пела Мария.

Так они шли все дальше и дальше: молодая женщина повторяла за Виктором, который после «помните обо мне» наконец с триумфом заключил свою речь последней фразой из песни. После этого ученый вскочил с кресла в возбужденном нетерпении, которое он уже никак не мог контролировать. Мария быстро села, закрыла лицо руками и зашлась отчаянными беззвучными рыданиями. В тот же миг Виктор оказался на коленях у ее кресла. Он обнял ее, пытаясь успокоить, и вдруг начал горячо извиняться за свое поведение.

— Я слишком требователен к вам. Я просто злодей! Простите меня — я слишком многого хочу! — Это единственное, что я разобрал в страстном потоке его слов.

Должен признать, что эта сцена тогда меня поразила, так как я неожиданно увидел в Викторе человека, не владеющего своими эмоциями, человека, которому явно недостает умения контролировать себя. Именно так объяснил я себе тогда эту эмоциональную эскападу Виктора и тот факт, что Мария, чьи слезы сразу перестали течь, сидела в кресле, склонившись к нему, и покорно слушала все его объяснения и извинения. Однако слова его были слишком эмоциональны, и вся происходившая в тот момент сцена была не совсем уместна для мужчины и женщины, которые в ней участвовали, особенно если учесть, что мужчина этот был женат на другой. А вот миссис Джакоби поняла все сразу. Она тут же оказалась рядом с ними, и Виктору пришлось подняться с колен. Затем, глядя ученому прямо в глаза, она сказала:

— Мария прекрасно понимает, что вы делаете все возможное, чтобы ей помочь, и я в этом тоже не сомневаюсь. Однако она устала, а вечером у нее выступление. Я вынуждена увести ее, чтобы она смогла отдохнуть.

Миссис Джакоби взяла певицу за руку и помогла ей подняться. После этого женщины попрощались и ушли. Я видел, как уже у самой двери Мария обернулась и устремила свои огромные лучистые глаза на Виктора. Она взглянула на него с таким выражением, с каким смотрит разве что преданная собака на своего любимого хозяина.

Меня растревожил этот ее взгляд. Тогда я сказал Виктору, что и мне пора идти, однако он вряд ли меня услышал, ибо даже не шевельнулся и продолжал стоять у окна и смотреть на улицу. Однако смотрел он не на дорогу, где Мария и миссис Джакоби усаживались в экипаж, а сквозь сгущавшуюся темноту в мрачную даль за рекой.

Когда я уходил, Элизабет Франкенштейн стояла в холле. Я поднял руку в знак прощания, однако при тусклом свете, который стал еще слабее из-за начавшегося снегопада, мне был виден лишь нечеткий контур ее однотонной фигуры, как призрак, недвижно стоявшей в дверном проеме.

Минуты три спустя я заметил на причале уродливую фигуру прежнего великана, который, указывая в направлении дома на Чейни-Уолк, издал горестный вопль. Можете представить себе, как встревожила меня эта сцена, которая легла еще одним мрачным пятном на только что происшедшие в этом доме события.

Хотя, если поразмыслить, во всем этом не было ничего, что могло бы так взбудоражить молодого человека со здоровыми нервами. И все же я был настолько потрясен, что заглянул по дороге домой в клуб, а когда вернулся к очагу Корделии Доуни, лишь молча посидел рядом с хозяйкой у огня, так ничего и не рассказав ей о событиях прошедшего дня. Все, что я мог бы ей поведать, было уж очень неопределенным и бередящим душу. А она и сама устала за день от домашних забот и капризов маленькой Флоры, которая простудилась и теперь лежала в кровати.

Поэтому мы лишь перебросились несколькими словами, после чего я взял свечу и поднялся к себе в комнату. И тут мне в голову пришла мысль, что раз уж мы с Виктором решили помочь Марии заговорить, то будет хорошо, если я стану подробно описывать каждый этап. Даже если Виктор тоже составляет отчет о ходе эксперимента, мое описание не помешает: два документа лучше, чем один. По этой причине, взяв ручку и бумагу, я сел, дрожа от холода (ибо камин в моей комнате не горел), и написал в начале листа дату первой своей записи — восемнадцатое ноября. После я изложил в подробностях все, что произошло со мной в этот день. Обо всех ужасных событиях, участником которых мне пришлось стать в дальнейшем, я вел точно такую же подробную запись; благодаря этому я и могу теперь дать вам столь подробный отчет. Можете представить себе, как я сидел той холодной зимой 1825 года в расположенной на втором этаже маленькой гостиной, едва обставленной мебелью (там были лишь комод, стол и стул), дрожал — иногда от холода, а иногда от ужаса и неспособности поверить в то, что происходит, — и писал свои заметки. Не один раз, описывая эти события, я начинал думать, что схожу с ума.

5

Эта ночь была тревожной. В сон мой врывались отрывки какой-то исступленной музыки. Я видел страдающее лицо Марии, слышал вопли великана, которого встретил на берегу. Перед самым пробуждением мне вдруг приснилось, что печальное выражение лица Марии, которая безуспешно пыталась обратить пение в речь, и выражение перекошенного коричневого лица того существа на берегу поменялись местами. Лицо Марии вдруг исказила свирепая гримаса, тогда как выражение лица воющего и указывающего рукой на север великана стало умоляющим и смиренным.

Я проснулся с тяжелой головой. Поняв, что уже не засну, я поднялся, оделся и спустился вниз еще до восхода солнца.

Однако оказалось, что Виктор встал еще раньше меня, ибо в скором времени мне передали записку, недавно доставленную одним из его слуг. В ней говорилось: «Прошу вас, приходите ко мне как можно раньше. Мне необходимо с вами поговорить».

— Я должен сейчас оправиться к Франкенштейну, — сказал я Корделии, наливавшей

мне чай.

Она же спокойно заметила:

— Не забудьте, что мистер Хатвей ждет ваш словарь. Она была права. Как я уже говорил, мой друг Дэвид Хатвей, пользовавшийся уважением книготорговец и издатель, уже давно ждал, когда я завершу свой словарь арамейского языка, и горел нетерпением его напечатать, тогда как я без конца переносил окончательную дату сдачи работы. В этих словах миссис Доуни звучало скорее предостережение, чем упрек. Но я был глух.

Очень часто из-за недостатка мужской твердости я оказываюсь не в силах игнорировать замечания женщин. Мужчины порой полагают, что им вовсе незачем слушать этих малообразованных созданий, которые в силу своей ограниченности думают лишь о шляпках и проказах прислуги. И это отчасти справедливо. Но лично я не могу оставлять без внимания замечания женщин, ибо нередки случаи, когда представительницы слабого пола приходят к разумным заключениям, хотя на чем эти заключения основываются — никто не знает. Ясно только одно: они не полагаются ни на собственный опыт, ни на конкретную информацию по исследуемому вопросу. И я всегда недоумевал, как это у женщин так получается. И все же в тот раз я решил не воспринимать всерьез предупреждение миссис Доуни, поскольку усмотрел в нем упрек.

— Значит ли это, миссис Доуни, что вы по-прежнему не одобряете мою попытку помочь Марии Клементи? — поинтересовался я.

Она тут же ответила вопросом на вопрос:

— Интересно, вы так же рьяно стремились бы прийти на помощь, если б на ее месте оказался бородатый старик?

После этих слов я рассмеялся, а она добавила:

— Вы ничего не знаете о ее прошлом.

— Мисс Клементи нема, и едва ли она в состоянии дать отчет о своей прошлой жизни, — заметил я.

— Видимо, я не совсем точно выразилась. Я имела в виду также прошлое мистера Франкенштейна, — пояснила она.

— Миссис Доуни, — ответил я, — при всем уважении к вам, я не могу поверить, что вы отдаете себе отчет в том, что сейчас говорите.

К счастью, этот обмен любезностями прервала служанка, которая пришла сообщить, что прибывший угольщик что-то напутал с доставкой.

Так как записка Виктора была срочной, я, наняв экипаж, сразу же отправился на Чейни-Уолк. Там швейцар, надежного вида мужчина средних лет, проводил меня прямо в кабинет Виктора. Тот стоял у окна с какой-то бумагой. При моем появлении он тут же обернулся и возбужденно проговорил:

— Нет! Вы только посмотрите! Это письмо от миссис Джакоби, и в нем говорится, что мисс Клементи сюда больше не придет! Визиты ко мне очень утомительны, пишет эта дама, и каждая неудача повергает Марию в еще большее уныние. Не может быть, чтобы так считала сама Мария! Она под влиянием своей коварной компаньонки! Может, она даже и не знает, что эта женщина делает от ее имени. Мы должны пойти к ней, Джонатан!

Его горячность меня поразила. Я не видел ничего удивительного в том, что Мария находилась в подавленном состоянии из-за того, что наши попытки не увенчались успехом. Невоздержанность Виктора во время нашей последней встречи подействовала на нее угнетающе. Ничего невероятного не видел я и в том, что певица не захотела продолжать

занятия. Я попытался урезонить Франкенштейна и обратился к нему со следующими словами:

— Виктор, дорогой мой друг, давайте лучше спокойно обдумаем, как действовать дальше.

— Мы немедленно должны направиться к ней, — только и твердил он.

— Виктор, — настаивал я, — из этого письма мы никак не можем заключить, что оно противоречит решению самой мисс Клементи.

— Но это ерунда! Абсолютная ерунда! — страстно восклицал ученый. — Она попала под влияние этой женщины! Мы должны пойти к ним домой.

Как уже было сказано выше, я видел довольно веские причины, по которым мисс Клементи могла сама пожелать прекратить занятия, и то неистовство, которое и тогда, и сейчас заставляло Виктора настаивать на своем, служило среди них едва ли не главной причиной. Мария была не из тех дам, кто праздно проводит время и кто мог бы заниматься с Виктором дни напролет вместо чаепитий и бесед с подругами. Мария же каждый вечер выходила к зрителям, переполнявшим зал, и для них она была настоящей богиней. Певица прекрасно понимала: стоит ей разочаровать своих поклонников, и они начнут осыпать ее бранью. Такова природа славы. Однако возбуждение Виктора было столь неистовым, что я, дабы успокоить его, опрометчиво согласился последовать вместе с ним в дом Марии Клементи.

Я еще больше встревожился, когда он предложил отправиться туда немедленно. Было немногим более девяти, и я обратил его внимание на то, что сейчас неподходящее время для визита и что артисты, которые вечером выходят на подмостки, имеют обыкновение вставать позже, чем остальные люди. Однако эти слова на него никак не подействовали. Он приказал подать к крыльцу экипаж, и через полчаса мы уже были у высокого дома на Рассел-сквер, который занимала Мария Клементи. Как я понял, певица выбрала именно это место в основном из-за того, что отсюда было совсем недалеко до театра. Дом этот производил хорошее впечатление и был замечательно обставлен. Как я и предвидел, Мария еще не встала. Нас проводили в приятную столовую, убранную в китайском стиле, с восточным ковром на полу и множеством китайских ваз в нишах.

Миссис Джакоби, накрывавшая к завтраку изящный лакированный столик, удивленно поздоровалась с нами. Лакей, стоявший сзади, напрасно предлагал Виктору снять пальто — тот его не слышал. Из вежливости женщина предложила нам располагаться, но тут Виктор, который все еще стоял в дверях, выкрикнул:

— Миссис Джакоби! Что означает это ваше письмо? Понимаете ли вы, что делаете? Я не допущу, чтобы мои занятия с мисс Клементи были прерваны!

Женщина, исключительно для того, чтобы сдержать гнев, прозвучавший в его голосе, спокойно ответила:

— Мистер Франкенштейн, я написала вам по одной лишь простой причине: мисс Клементи дала мне понять, что она не хочет более продолжать свои визиты к вам. Она не считает, что ваши занятия ей помогают, а в ваших манерах она не видит проявления сочувствия.

— Как можете вы такое говорить? — потребовал ответа Виктор. — Вы вкладываете в ее уста свои слова, потому что она нема. Я должен немедленно ее увидеть!

— Она в своей комнате, — ответила ему миссис Джакоби.

— Тогда я буду ждать здесь, пока она не спустится! — заявил Виктор и сел у стола.

Я сильно пожалело том, что не предотвратил этот визит на Рассел-сквер. Я полагал, что приезд сюда подействует на моего друга успокаивающе, но оказалось все наоборот. Трудно было предположить, что он станет вести себя столь грубо и дерзко. Мне начинало казаться, будто рядом со мной вовсе не Виктор, а совершенно другой, незнакомый мне человек. Я предложил ему уйти, с тем чтобы потом выбрать более удачный момент для посещения Марии.

Миссис Джакоби посмотрела на меня с насмешкой и презрением, так как Виктор тотчас же ответил:

— Нет. Вопрос этот должен быть решен сейчас же.

После этих слов миссис Джакоби уже не могла сдержать свой гнев.

— Здесь никто никому ничего не должен, мистер Франкенштейн. Мисс Клементи не желает продолжать встречи с вами. Я по ее просьбе написала вам об этом. Вы же приходите сюда без приглашения в столь ранний час, усаживаетесь и говорите, что собираетесь ждать ее, хотя об этом вас никто не просит! Я должна признать, что нахожу ваше поведение неслыханно дерзким, мистер Франкенштейн! Мисс Клементи — молодая женщина, у нее нет семьи, и ее некому защитить. Единственным источником доходов Марии является ее собственный заработок. И она обеспечивает себя с помощью своего таланта, к которому ей необходимо относиться бережно. Душевное спокойствие очень для нее важно. Она сообщила вам о своем решении, и я прошу вас его уважать.

— Ясное дело, вы хотите изолировать ее от людей, — сказал на это Виктор. — Вы наживаетесь на ее таланте и, конечно же, не желаете ее отпускать. Если мисс Клементи обретет голос и начнет общаться с людьми на равных, то для вас это станет настоящим несчастьем. Я должен ее увидеть и узнать у нее самой, чего она хочет на самом деле!

То, что говорил Виктор, было возмутительно. Я открыл было рот, собираясь призвать его к порядку, но миссис Джакоби меня опередила и справилась с этой задачей как нельзя лучше.

— Кажется, вы не отдаете себе отчета в том, что говорите, мистер Франкенштейн, и мне остается только надеяться, что это состояние у вас скоро пройдет. Однако пока этого не произошло, я не желаю видеть вас в этом доме, а потому очень прошу вас сейчас же уйти.

И в этот самый момент появилась Мария. Свежая, как само утро, одетая в простое домашнее платье бледно-желтого цвета, молодая женщина вошла в комнату с очаровательной улыбкой, говорившей о том, что она и не подозревает о той напряженной ситуации, которая здесь сложилась.

При ее появлении миссис Джакоби, опередив Виктора, который хотел сразу же заговорить со своей подопечной, мягким голосом произнесла:

— Мария, дорогая, мистер Франкенштейн пришел сюда, чтобы убедиться в истинности моих слов. Подтверди, пожалуйста, что ты действительно намерена прекратить занятия с ним. Можешь ли ты каким угодно способом дать ему понять, что решение твое твердое и что принято оно тобой самостоятельно?

Но Мария ничего не показала. Она лишь стояла на месте и, не отрываясь, с нежной улыбкой смотрела на Виктора. Он же, очень бледный, неподвижно стоял на месте и, не сводя с нее глаз, ждал ответа.

— Мария, — повторила миссис Джакоби, — пожалуйста, дай мистеру Франкенштейну понять, каково принятое тобою решение.

Во время этой сцены я услышал, как хлопнула внизу входная дверь и в холле раздались

чи-то шаги. Затем дверь отворилась, и в гостиную вошел мужчина столь отвратительной наружности, что трудно себе вообразить, — таких нечасто встретишь. Говорят, о людях нельзя судить по их внешности, однако на этого человека достаточно бросить один взгляд, чтобы понять, каков он. Разодет он был с ног до головы по последней моде. Но брюки его казались слишком узкими, ботинки чрезмерно блестели, а черная шляпа, которую держал он в руке, была слишком высокой. Лицо у него было удлинненное, с землистым оттенком, а волосы на голове завиты и густо напояжены. Его безразличные темные глаза, казалось, говорили: «Слишком часто мы любовались рассветом и устали от бессонных ночей». Он застыл в дверях, словно позировал для портрета, демонстрируя при этом в улыбке слишком уж белые зубы. Это был Габриэль Мортимер, импресарио Марии, — щеголь, денди и негодяй.

Вошедший тем временем холодно посмотрел на меня и на Виктора. Миссис Джакоби представила нас друг другу.

При этом она умолчала о причине нашего прихода. Мортимер кивнул нам и обратился, к миссис Джакоби:

— Я пришел с информацией о «Мести Геры» маэстро Валли. Композитор хочет поменять местами три сцены, а убедить его оставить все как есть просто невозможно.

Виктор, не обращая никакого внимания на слова Мортимера, обратился к певице:

— Мария, пожалуйста, приходите ко мне на следующей неделе. Заклинаю вас, ради вашего же собственно го блага, сделайте так, как я говорю!

И молодая женщина... согласно кивнула!

— Мария! — с упреком воскликнула миссис Джакоби.

Неужели предположения Виктора оказались правдой и пожилая женщина действительно старалась не допустить контакта немой певицы с человеком, который мог помочь той избавиться от мучительного недуга?

— Слава Богу! — воскликнул Виктор. — Воистину слава!

Мария только улыбалась.

После этого Виктор холодно попрощался с миссис Джакоби, на ходу кивнул Мортимеру и вышел из комнаты. Я также попрощался с импресарио и с миссис Джакоби, которая проводила меня до двери и негромко спросила:

— Вы будете у мистера Франкенштейна, когда Мария придет к нему в следующий раз?

Я ответил, что надеюсь присутствовать на этом занятии.

— Постарайтесь, — сказала она. — Я буду очень благодарна, если вы придете.

Неуверенный в том, как все сложится, я все-таки решил сделать все возможное, чтобы выполнить ее просьбу. Однако уже на улице, присоединившись к Франкенштейну, я подумал о том, что мне на самом деле совершенно непонятна роль, которую вдова капитана Джакоби играет во всей этой истории. Виктор так и не сказал мне ни слова, даже когда мы расставались около его дома, — так он был переполнен восторгом по поводу того, что Мария согласилась продолжить занятия.

Я же тем временем оставался в полном недоумении. Неужели миссис Джакоби оказалась злодеем в юбке, который стремится контролировать поведение Марии, руководствуясь соображениями собственной выгоды? Или это Мария сначала по какой-то причине дала ей понять, что хочет прекратить занятия с Виктором, а потом просто передумала? Какую роль во всем происходящем играет этот отвратительный Габриэль Мортимер? И если миссис Джакоби и в самом деле злоумышленница, а с ней и Мортимер

(насчет него как раз сомневаться не приходится), то в каком же тогда ужасном положении оказалась Мария! Я подумал о том, что молодой женщине, вынужденной часто находиться в обществе этого отвратительного типа, удалось сохранить чистоту и невинность только по той причине, что она с ним никогда не разговаривала.

На пути к своей квартире я размышлял и еще об одном странном обстоятельстве. Сейчас не кривя душой я могу назвать себя добродетельным мужчиной, но вовсе не потому, что силы мои уже не те: даже в те времена, о которых идет рассказ, я не позволял себе легких отношений с женщинами. Фактически я сам для себя решил, что, не дожидаясь той поры, пока горячность молодости перейдет у меня в холостяцкое безразличие, я сделаю все от меня зависящее, чтобы устроить свою жизнь. Я не знаю ничего более отталкивающего, чем вид престарелого господина, который, вместо того чтобы заниматься своим делом и сидеть у собственного очага, как ему и подобает по возрасту, все еще волочится за женщинами. Конечно, я не забыл, как сам частенько в былые времена разыгрывал одну и ту же старую сценку, когда, спустившись на цыпочках из спальни с ботинками в руках, я затем, открыв входную дверь, делал вид, будто только что пришел с улицы, и специально громко ее захлопывал. А после этого — ботинки уже на ногах! — входя в гостиную с видом самым что ни на есть невиннейшим, я расплывался в широкой улыбке, будто вовсе не я в этом самом доме только что провел ночь наверху, в спальне Полли Перкинс.

У меня не было уверенности в том, что появление Габриэля Мортимера сегодня утром не было точно таким, как описано выше. Я не слышал, чтобы прозвонил звонок или раздался стук дверного молотка. Не слышал я, чтобы слуга подходил открывать дверь. Не исключено, конечно, что у Мортимера были ключи от дома мисс Клементи, но эту версию едва ли можно допустить. С какой стати у постороннего мужчины должны быть ключи от дома, где проживают две дамы? А что, если он тоже провел ночь в этом доме, а потом лишь незаметно спустился по лестнице, чтобы хлопнуть входной дверью? Ну и картину я себе представил! Моя рыцарская натура... нет, скорее, моя ревнивая натура поднялась на защиту Марии. Не был ли этот Мортимер любовником миссис Джакоби? В таком свете положение бедной девушки, немой и лишенной друзей, если не считать эту страшную пару, которая манипулирует ею, как хочет, казалось мне еще более угрожающим.

6

Я не присутствовал на следующей встрече Виктора и Марии, так как утром пришла записка от моей сестры Арабеллы, которая заклинала меня немедленно приехать домой, так как отец наш был очень болен. Поэтому я на всех парах помчался в Ноттингем, презрев размытые дороги и гололед, и застал отца в тяжелом состоянии, вызванном застойными явлениями в легких. К счастью, через некоторое время болезнь отступила, и отец стал постепенно поправляться. Он уже чувствовал себя гораздо лучше, хотя был еще довольно слаб, когда начались рождественские праздники.

Обычно соседи навещают друг друга в эти дни, и у нас гостей было немало — частенько за столом усаживалось по двадцать человек. А так как отец мой еще не совсем поправился после болезни, то честь играть роль главы дома была возложена на меня. Таким образом, я был занят самыми разными вещами: от хозяйственных платежей до сопровождения сестер во время визитов.

После одного из балов, проходившего за сотни миль от дома и чрезвычайно меня

утомившего, моя сестра Арабелла согласилась на замужество с сыном нашего соседа Дадли Хаитом, юристом по образованию и неплохим парнем (хоть, на мой взгляд, и скучноватым). Моя же младшая сестра Анна грозилась после Нового года выйти за куратора приходской церкви, а потому срочно была отправлена в Нортумберленд с сестрой отца, гостившей у нас во время праздников и теперь возвращавшейся домой.

Среди всех этих поклонников, желанных и нежеланных, поломанных изгородей, проблем с арендой и платежами, балами и охотой закрутился я в Ноттингеме до середины января, забыв на время и о работе над словарем, и о Дэвиде Хатвее, и о столичной жизни. Сказать по правде, единственное, что влекло меня тогда в Лондон, было желание вновь увидеть миссис Доуни, ибо я почувствовал, как мне ее не хватает, и заскучал по ее милому лицу и дружескому участию. Я стал даже подумывать о том, какой прекрасной была бы моя жизнь в Ноттингеме, будь эта женщина здесь, рядом со мной. Ей, как никому из моих родных, я мог свободно изливать душу, и я размышлял теперь о том, что ее дочурке, маленькой Флоре, выросшей в загрязненной атмосфере большого города, жизнь в Ноттингеме пойдет на пользу. От таких мыслей я просыпался даже среди ночи и начинал представлять себе, как моя милая хозяйка живет рядом со мной, в этом самом местечке, которое я люблю больше всего на свете.

Тем временем приятная деревенская жизнь продолжала идти своим чередом, а по-другому и быть не могло. Завтра мне следовало повидать мистера N и поговорить с ним о лесе, на следующий день была запланирована охота, еще через день — очередной визит, а там должен был приехать управляющий по поводу посадок и так далее изо дня в день.

И вдруг письмо Хьюго Фельдмана оторвало меня от деревенской жизни и заставило спешно ехать в Лондон. Письмо это, доставленное в грязной повозке, прибывшей из деревни, принесли в тот самый момент, когда я вернулся после осмотра угодий и собирался завтракать. Я читал его, стоя у камина и стараясь согреться, в то время как Арабелла нарезала ломтиками говядину для отца.

Хоть мы и не отстранялись от всего мира, а все ж придерживались старых деревенских привычек и предпочитали на завтрак свое пиво, свое мясо и свой хлеб, ибо все эти продукты готовились здесь с тех самых пор, как построен был этот дом, и готовились очень качественно. Женщина, не спустившаяся к завтраку, считалась больной, а уж мужчине разрешалось пренебречь завтраком только в том случае, если он оказался на смертном одре.

Тот факт, что письмо пришло от Хьюго, меня чрезвычайно удивил, ибо мой друг вовсе не был любителем писать письма. Я знал, что он готов был скорее проехать верхом десять миль, чтобы лично поговорить с человеком, нежели сесть и написать ему письмо или небольшую записку. Поэтому-то, распечатывая послание от него, я понимал, что речь в нем пойдет о чем-то важном и неотложном.

«Дорогой мой Джонатан, — прочел я, — меня сначала одолевали сомнения, стоит ли писать тебе, однако Люси убедила меня это сделать. Мы оба пришли к выводу, что должны сообщить тебе о происходящем, так как делаем это в интересах нашего друга Виктора, которого, я уверен, мы с тобой оба ценим и любим. Ты знаешь, Джонатан, что я не любитель писать письма, а потому начну без околичностей: Виктор влюблен в Марию Клементи. Он не выходит из театра во время ее выступлений, покупает ей подарки, которые та принимает, он зачастил к ней с визитами на Рассел-сквер. Виктор дважды отправлял свою бедную жену к нам, стараясь скрыть свои поступки, но Элизабет трудно обмануть. Она живет у нас в Олд-холле уже неделю, и теперь приняла решение вернуться в Лондон и оставаться с мужем, как

бы трудно ей ни было. Мы с Люси старались всячески ее поддержать и сказали ей: если она поймет, что больше не может выносить всю эту ситуацию, то должна будет обязательно вернуться к нам. Я ничего не могу предпринять и полагаю, что ты в этой ситуации сможешь оказаться более полезным. Короче говоря, я прошу тебя поехать к Виктору и попытаться выяснить, какие отношения связывают его с Марией Клементи, а также объяснить ему, как пагубно влияет такое поведение на его жену.

Дорогой мой Джонатан! Ты, конечно, понимаешь, что я не пытаюсь отвертеться и переложить проблему с больной головы на здоровую, но прошу тебя помочь исключительно ради бедной Элизабет Франкенштейн и, конечно же, ради самого Виктора. Будь добр, не откажи!»

Письмо Хьюго меня потрясло. И в следующую минуту я испытал еще одно потрясение — на этот раз изумившись своей собственной глупости. Все это мне должно было стать понятным еще тогда, когда я видел, в какое возбуждение пришел Виктор, услышав об отказе Марии продолжать занятия, и тем более когда я стал свидетелем его вторжения в дом на Рассел-сквер. Ведь тогда передо мною был вовсе не слугитель науки, а обыкновенный мужчина, страстно рвущийся к женщине. Настолько велико было мое уважение к Виктору как к талантливому ученому, что я оказался слеп, а ведь, будь передо мной другой, я ясно увидел бы в его поступках безумство влюбленного.

Меня ужаснула задача, которую мне предстояло выполнить. Я должен был просить Виктора отказаться от Марии ради жены и ребенка, не говоря уже о его собственной репутации. По-видимому, мне еще предстоял разговор и с миссис Джакоби, и одному только Богу известно, как может повести себя эта дама в сложившейся ситуации. Мысли мои об этом были столь тягостными, что я, помнится, тут же, у камина, выразил вслух свою досаду через крепкое словцо. Сестра, услышав это, испуганно ойкнула, а отец предупреждающе произнес: «Ш-ш-ш-ш-ш...»

Хьюго взывал ко мне, несомненно, по настоянию Люси, и у меня не было иного выбора, кроме как отправиться и выполнить это неприятное поручение. Что и говорить — собрался я мигом, быстро распрощался с родными и взял курс на лондонскую дорогу, благо ее еще не развезло, как обычно бывает в это время года. Таким образом, я прибыл в Лондон к вечеру того же дня и, позаботившись об отправке моей лошади обратно в Ноттингем, направился прямо в театр, где выступала Мария. Я решил, что если дела обстоят так, как излагал в своем письме Хьюго, то я найду Виктора именно там.

Театр был переполнен. Там откупившись, здесь протолкнувшись, я смог наконец найти местечко в задних рядах и оттуда увидел, вытянувшись над массой голов впереди меня, последний акт «Мести Геры». Опера была вполне в традициях лондонской сцены того времени, на которой правили бал банальность и мишурный блеск. И тем не менее, как только поднялся занавес и стройная одинокая фигурка Марии Клементи с крепко сжатыми на труди руками (она исполняла роль Констанции, молодой возлюбленной Иове) появилась на сцене и запела о своей любви к Богу, аудитория, не в силах сдержаться (да и не склонная в те времена, о которых мы ведем свое повествование, сдерживаться), встала и закричала от восторга. Раздались крики: «Браво! Браво!» Закончив пение, Мария начала танцевать. Никогда не забуду я этого зрелища: облаченная в золото фигурка, легкая, как паутинка, и в то же время сильная, как молодой тополе; белые руки, летающие над прекрасной гордой головкой, увитой цветами. Что за грация, что за чистота, что за прелесть! Мужчины, стоявшие за мной, не могли сдержать восторга. Ничего удивительного в том, что

Виктор Франкенштейн, как и многие другие, не устоял перед ее чарами! Да кто из нас способен был тогда устоять?

Танец закончился, и на сцену, для пущего драматического эффекта, вышли чернокожие танцовщики, исполнявшие роли некой африканки Сэл и дворника Боба. Он — в оборванных брюках, а она — в ситцевом платье и с какой-то тряпкой на голове. Они начали отплясывать глупый танец с пантомимой. Затем последовало неожиданное появление Иове, который явно намеревался поухаживать за Констанцией, но вскоре на сцене оказалась и сама Гера, догадавшаяся о намерениях Иове, после чего эта пара запела дуэтом.

В этот самый момент мне пришло в голову, что Виктор, которого я до сих пор не видел в театре, вполне мог прийти к концу представления, чтобы потом влиться в ту толпу, которая (в чем я не сомневался) будет поджидать актрису за кулисами. Поэтому я стал прокладывать себе путь в обратном направлении — из театра, — что вызвало еще больший протест, чем тогда, когда я стремился прорваться сюда. Непосредственно перед выходом я оглянулся еще раз и увидел новые декорации: английский пейзаж с лугами и овечками. На его фоне стояли Иове, Гера и хор в полном составе, и все пели. Впереди всех находилась Мария в своем золотистом одеянии и с короной из цветов на волосах. Она, словно птичка, пела так чисто и легко, что ее голос без труда парил и надо всем хором, и над прочими певцами. Это было очаровательное зрелище.

Я прошел на аллею, расположенную за театром, и нашел дверь, через которую можно было попасть за кулисы. Заплатив служащим некоторую сумму денег и заверив их, что я знаком с мисс Клементи, я был препровожден наконец за кулисы в забитую народом артистическую комнату. Здесь были и посол, и маркизы, и прочие важные персоны. Не обошлось и без разряженных дам с перьями (что были тогда на пике моды) в волосах и офицеров в униформе, оставивших ради кумира свои прямые обязанности. Из одного угла комнаты раздавались крики попугая, сидевшего в золоченой клетке, а в другом углу в совершенном спокойствии застыли две огромные гончие, которые держались с куда большим достоинством, чем окружавшие их люди. Однако Виктора нигде не было видно. Я отыскал глазами миссис Джакоби. Она была в черном шелковом платье. Когда вошла Мария с остальными членами труппы, толпа расступилась, чтобы впустить ее одну, и тут же замкнулась прямо за ней. Я полагал (ошибочно, как потом оказалось), что если мне удастся подобраться к миссис Джакоби, то я смогу перекинуться с ней парочкой слов и постараться хоть что-то узнать об отношениях Марии и Франкенштейна. Но как бы я ни старался протолкнуться между публикой, разодетой в шелка, красные туники и черные костюмы, протиснуться дальше почитателей второго ряда мне так и не удалось.

Несмотря на появившееся у меня тогда недоверие к миссис Джакоби, я не мог не отдать должное ее выдержке и компетентности. В конце концов, именно она служила «голосом» Марии. Опыт многих лет позволял ей, как никому другому, судить, что же именно хочет сказать певица, чего она желает, а чего нет. В этом плане пожилая дама оказывала молодой женщине неоценимую поддержку. Она стояла теперь рядом с Марией, отвечала на миллионы вопросов и давала четкие комментарии. Я слышал, как она сказала: «Мисс Клементи находит эту роль довольно трудной, но все же не до такой степени, как роль Дидоны в опере «Дидона и Эней» Перселла, в которой вы, несомненно, ее видели... Мисс Клементи благодарит ваше сиятельство за столь лестные отзывы... Да, мисс Клементи занимается у балетного станка — как балерины в России, — по часу в день...»

В какой-то миг она заметила меня и, как мне показалось, сумела быстро овладеть собой

и скрыть испуг, промелькнувший в ее глазах. Я поклонился ей, но не увидел смысла долее там оставаться, ибо невозможно было переброситься с ней ни единым словом. По этой причине я, с трудом прокладывая себе путь через толпу, направился к выходу. Во мне пробудилось большое уважение к миссис Джакоби и искреннее сочувствие к Марии. Ведь в каком бы из городов они ни оказались: в Лондоне или в Париже, в Риме или в Вене, — каждый вечер эти женщины должны были вначале выполнять требования импресарио, а затем еще и отвечать на вопросы поклонников, причем отвечать так, чтобы никого не разочаровать.

Я вышел через ту же дверь, что и вошел, и оказался в проулке, один конец которого выходил на большую улицу, а другой — упирался в высокую стену. Когда я вышел и развернулся, чтобы идти в сторону улицы, то в темноте краем глаза заметил у этой стены (она была от меня футах в двадцати) какое-то движение. Внезапно громадная, неуклюжая фигура, до сих пор, по-видимому, сидевшая, скорчившись, на земле, поднялась во весь рост. Это был высоченный мужчина, можно сказать, великан, одетый в длинное черное пальто. Мне бросилась в глаза бледность его лица и длинные, несобранные темные волосы. Я с отвращением отпрянул, ожидая, что за этим последует просьба подать милостыню или что он просто набросится на меня. Однако я ошибся. Человек этот всего лишь наклонил голову и посмотрел на меня изучающим взглядом, а затем вновь медленно опустился на землю и опять стал неразличим, будто растворился во тьме. Испугавшись нападения, я припомнил тех изголодавшихся бедняг, у которых нет уже сил выпрашивать и которые просто отыскивают себе место, чтобы поспать. Я нашел монету в кармане и бросил ее нищему. У стены послышалась какая-то возня и неразборчивое бормотание, должно быть означавшее благодарность.

Я нанял экипаж и попросил отвезти меня к Виктору на Чейни-Уолк. Я хотел как можно скорее выполнить возложенную на меня задачу, да и время было не настолько позднее, чтобы обитатели дома уже легли спать.

В дороге меня осенила догадка: а не являлась ли та мрачная огромная фигура в конце переулка той же самой, что я видел на причале в Челси. Ведь не может же в Лондоне быть двух таких огромных и страшных чудовищ. Но если это тот же самый человек, то на этот раз он выглядел не столько устрашающим, сколько жалким. Но тут я мысленно перенесся к предстоящему визиту. С одной стороны, я хотел успеть к Виктору до того, как они с Элизабет отправятся спать, с другой — я с содроганием думал о том, что мне предстоит. Как трудно упрекать человека в том, что он дурно обращается с собственной женой. Обычно подобные поручения очень тяготят мужчин, ибо те, в большинстве своем, понимают, как непросто устоять перед красотой женщины и не сбиться с пути.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

На Чейни-Уолк мне доложили, что Элизабет Франкенштейн уже легла, а Виктор уехал в клуб. Так как экипаж ждал меня на улице, то я отправился сразу же в клуб «Честерфилд» на Довер-стрит. Честно говоря, я ужасно устал и, не застав Виктора дома, собрался уж было отправиться к себе на квартиру, но лицо слуги, открывшего мне дверь и объяснившего, что хозяина нет дома и что он отправился в клуб, говорило красноречивее слов, и это заставило меня действовать незамедлительно. Работники знают обо всем, что происходит с их хозяевами, и этот слуга, несомненно, дал мне понять, что в доме на Чейни-Уолк дела идут совсем плохо. Как мне показалось, он испытал большое облегчение, когда я сказал, что поеду в клуб и отыщу его хозяина.

Была половина одиннадцатого, когда я приехал на Довер-стрит. Посетителей было мало. Я прошел мимо охранника и поднялся по лестнице главного входа. В холле за деревянной конторкой сидел привратник. Он направил меня в библиотеку, где, судя по его словам, я должен был найти Виктора. Пройдя несколько холодных, отделанных мрамором коридоров, я вошел в темную комнату со сводами, которая и являлась клубной библиотекой. Несколько свечей в старинных подсвечниках горело по разным углам, но комната все равно казалась темной, а длинные ряды книг придавали ей еще более унылый вид. Виктор был один. Он сидел, сгорбившись над камином, как сидит человек, который никогда уж не надеется согреться. Я подошел к нему и увидел, как сильно он изменился. Он и раньше-то не отличался полнотой, а теперь и вовсе исхудал. Его нос еще сильнее выдавался вперед, явственнее выступили скулы, а глаза впали. Я увидел перед собой не горящего страстью прелюбодея, как можно было того ожидать, а сломленного, несчастного человека, который сбежал из дома и не знал, куда ему теперь идти.

— Джонатан, — сказал он просто, вместо приветствия.

Мне не имело никакого смысла скрывать свои намерения за маской приветливой веселости, а потому я посмотрел на него как можно решительнее и проговорил:

— Я только что был в театре, Виктор.

— Ты видел Марию? — спросил он порывисто.

— Я видел ее, но мы не разговаривали. Ее окружила толпа... Виктор... — взмолился было я, но тот угрюмо прервал меня.

— Я знаю, зачем ты сюда пришел, — сказал он. — Хочу избавить тебя от неприятной необходимости объяснять цель твоего приезда. Хьюго Фелтхэм не из тех людей, кто умеет действовать исподтишка. Он написал мне и все рассказал: что Элизабет во время своего визита в Олд-холл поведала о своих неприятностях его жене и что он написал тебе письмо, в котором просил тебя приехать и обсудить со мной мое положение. Так что будем говорить на чистоту. Мне больно произносить эти слова, но не сделать этого я не могу: я люблю Марию Клементи. Любовь эта превратилась для меня в пытку, ибо Мария не отвечает мне взаимностью. Я просто убит, и дело усугубляется тем, что моя замечательная жена, которая никогда ничем меня не обижала, безумно страдает, и я это хорошо понимаю. Я не могу спать. Не могу работать. Не могу думать ни о ком, кроме Марии. Я не знаю, что мне делать, ибо я хочу, чтобы она стала моей, но она этого не желает. А знаешь, Джонатан, что я задумал сделать сегодня вечером? Она через миссис Джакоби запретила мне каждый вечер появляться в театре, поэтому я собирался пойти к ее дому, спрятаться на площади, среди деревьев, посмотреть, как она приедет домой в экипаже, и выследить, с кем она будет. Потом я собирался остаться около ее дома до тех пор, пока не погаснут все огни в окнах, и довести себя этим до состояния крайней усталости, чтобы, вернувшись после этого сюда, я смог заснуть хотя бы на несколько часов. Вот такие у меня были планы на сегодняшний вечер, Джонатан. Именно так провел я прошлую ночь, и то же самое собираюсь сделать завтра. Теперь ты понимаешь, до какого состояния я дошел?

— Виктор, дорогой! — воскликнул я.

— Не жалею меня, — ответил он, — ибо это мое наказание.

Я подложил полено в огонь и подвинул его так, чтобы оно занялось пламенем.

— Наказание? Виктор! За что же, по твоему мнению, ты должен быть наказан?

Полено не разгорелось, а только задымил.

— Этого я не могу тебе сказать, — ответил Виктор.

Когда я настраивался на этот разговор, то представлял его себе именно таким, какими обычно и бывают подобные разговоры между друзьями. Один начинает убеждать другого бережнее относиться к жене и получает в ответ либо предложение убираться восвояси и заниматься собственными делами, либо заверения провинившегося (искренние или лицемерные) в том, что тот послушается и непременно оставит свою возлюбленную. Я никогда не пускался в подобные беседы, а теперь мое положение было особенно тяжелым, так как душой я уносился в иные дали. Я думал, что теперь уже никогда не смогу завоевать сердце Марии... Хотя... почему бы и нет? Ведь мог бы я... Впрочем, я сам не знаю, о чем я тогда думал. Что-то звериное, поднявшееся из самых моих глубин, неподвластное разуму выстраивало мои мысли или, наоборот, мешало мне привести их в надлежащий порядок. Единственная мысль, за которую я ухватился, состояла в том, что Виктор не завладел этим небесным созданием, Марией, и осознание этого наполняло меня радостью. Раз она не досталась мне, то мысль о том, что она отдалась Виктору, повергла бы меня в уныние. И я не могу не признать, что в этом плане я чувствовал себя настоящим безумцем. Но только те, кто никогда не заглядывал в глубокие, серые глаза Марии Клементи, никогда не видел, как она танцует, и не слышал ее пения, могут презирать меня. Те же, кто испытал все это на себе, прекрасно меня поймут.

Но ведь Виктор говорил о наказании, о наказании, посланном именно ему.

— И все же что ты хотел этим сказать? Твое наказание в том, что Мария никогда тебя не полюбит?

Но Виктор ничего не ответил. Я не отступался, а он так и сидел с видом побитой собаки, исхудавший и усталый.

— Дорогой мой друг, — сказал я тогда, — мне нестерпимо видеть тебя в таком состоянии. Я думаю, будет лучше, если ты преодолеешь свою страсть, которая может стоить тебе всего, что ты имеешь и что так дорого твоему сердцу: и любящей жены, и интересной работы. Может, будет лучше, если ты увезешь свою семью куда-нибудь подальше от Лондона, поживешь там некоторое время, постарайся избавиться от этого влечения, удалившись от предмета своей страсти? Иначе только бесчестье станет здесь исходом. Даже если Мария полюбит тебя ответной любовью, что хорошего сможет ей это принести? Она молодая женщина с безупречной репутацией; среди представителей ее профессии трудно отыскать ей равных. И до сих пор вокруг ее имени не было слышно ни одного скандала. Неужели же ты, женатый мужчина, хочешь соблазнить и погубить это невинное существо, со всей неизбежностью обрекая его на падение?

— К сожалению, это горькая правда, и я ее не могу не признать, но именно этого я и хочу. Я не задумываюсь о последствиях ни для нее, ни для меня. Я хочу одного: что бы она стала моей.

— Ты же понимаешь, что этим ты принесешь вред не только ей, но и себе, и твоей жене. Ты должен собрать всю свою волю — и уйти.

— Это мне наказание, — повторил он снова.

Я не мог отвести глаз от Виктора Франкенштейна — человека высокого интеллекта и силы воли.

— Ты думаешь, что я сошел с ума, — продолжал он, — но если бы ты знал... если б ты только знал... О, если б я мог тебе все рассказать! Я несчастен, и я заслужил свое несчастье!

— Уж не обращаешься ли ты к какому-то свирепому кальвинистскому богу своей молодости, к богу судьбы, адского огня и проклятия? — спросил я его. — Ты сам говорил

мне, что не спал и на сегодняшнюю ночь планировал бдения у дома на Рассел-сквер. Я заберу тебя домой или, если не хочешь, попрошу приготовить две кровати здесь, в клубе, возьму у портье какого-нибудь снотворного. Я буду с тобой, пока ты не заснешь. А к утру, когда ты отдохнешь, все будет выглядеть совсем по-другому, и тогда мы с тобой поговорим. Если ты не против, я отправлю посыльного к тебе домой, чтобы Элизабет знала, где ты находишься.

— Мое присутствие доставляет жене одни страдания, — сказал Виктор.

— Она страдает и из-за твоего отсутствия, — возразил я. — Элизабет горячо тебя любит, Виктор. Ты должен вернуться домой. Давай я поеду с тобой.

Он грустно ответил:

— Какой же я негодяй! Я раб своих страстей! Но как же мне сейчас хочется, чтобы меня любила не собственная жена, а Мария! — Он посмотрел на меня и нетерпеливо проговорил: — Джонатан, оставь меня. Ты ничем не можешь мне помочь.

— Я не могу оставить тебя в таком состоянии! — ответил я, беря его под руку и помогая подняться на ноги. — Я отвезу тебя домой, посмотрю, как ты проглотить пару таблеток снотворного, а потом приеду утром, так чтобы мы смогли обо всем поговорить.

Он согласился, скорее, из-за того, что у него не было сил сопротивляться, но взгляд его говорил, что тот простой и естественный путь, который я ему предложил, ничем не поможет в данной ситуации. А после этого начался настоящий ночной кошмар...

Клубный портье послал за экипажем, который нашелся не сразу. Мы стояли на улице и ждали. Снег валил вовсю, а Виктор, не останавливаясь, бессвязно говорил о Марии. Наконец появился засыпанный снегом слуга, а за ним и старенький экипаж, который тянули две усталые лошади. Экипаж ехал ужасно медленно. Я устало опустился на сиденье, а рядом со мной сел Виктор, устремив в пустоту ничего не видящий взгляд.

У дома на Чейни-Уолк собралась огромная толпа. Передняя дверь была открыта настежь, все окна в доме освещены.

— О боже, что это? — воскликнул Виктор. — Что случилось? — Он выскочил из экипажа и побежал в дом. Я спешно последовал за ним, проталкиваясь сквозь толпу. Преодолевая по две ступеньки разом, я взбежал по лестнице мимо двух служанок, вцепившихся друг в дружку руками, и быстро вошел в дом. Когда я оказался в холле, Виктор уже поднимался по лестнице.

Ко мне подошел один из слуг.

— Что случилось? — спросил я у него.

Он сообщил мне ужасную новость.

— Миссис Франкенштейн мертва. Ее убили вместе с маленьким сыном. Их нашли в кровати с перерезанным горлом. Они оба, и она, и мальчик, — говорил слуга, и голос его дрожал, — лежали на постели, и все простыни пропитались кровью...

— Но кто же... — начал было я и не договорил.

— Неизвестно, — поняв мой вопрос, ответил слуга. — Когда все легли спать, одна из служанок вдруг проснулась, как ей показалось, от звука разбившегося стекла. Она встала и разбудила еще одного слугу. Мы зажгли свечи и пошли вниз. И там мы обнаружили, что окно в длинной гостиной разбито. Стало ясно, что кто-то пробрался в дом...

— А миссис Франкенштейн... а мальчик?

— Пока мы ошупью в темноте поднимались вверх, раздался крик. Еще одна служанка, поднимавшаяся по лестнице вверх, открыла дверь в комнату и увидела там госпожу вместе с

мальчиком...

Я побежал вверх и нашел Виктора в комнате, которая была полна народу. Все стояли и смотрели на белое лицо его жены, лежавшей на кровати с перерезанным горлом. Мальчик, которого она взяла к себе в постель (вероятно, для того, чтобы успокоить его или себя), так и не разжал ручек, которыми от страха вцепился в мать. У него тоже было перерезано горло.

Мне пришлось оттащить друга от кровати, ставшей смертным ложем его семьи. Вызванный спешно доктор уже склонился над телами; в воздухе стоял запах свежей крови. Даже когда я старался вытащить моего друга из комнаты, где, посеревшие и окровавленные, лежали его жена и сын, нельзя было не заметить, что поиски того, кто совершил это кровавое преступление, или улики, которые позволили бы найти убийцу, еще не прекратились и идут полным ходом.

Воспоминания обо всем увиденном мною тогда до сих пор заставляют меня содрогнуться.

В доме так никого и не нашли. Заметили только открытое чердачное окошко в комнате служанки, которая первой проснулась от звука разбившегося стекла. Из этого сделали вывод, что убийца, проникнув в дом через окно в гостиной, взбежал вверх, осуществил свой ужасный замысел, а затем, пока слуги ошупью поднимались в темноте по лестнице, залез на чердак и уже оттуда выбрался на улицу — либо пробежав по крышам прилегающих домов, либо совершив опасный спуск прямо по передней стене дома. Но как бы он это ни проделал — а был он, по всей видимости, мужчиной быстрым и ловким, — к тому времени, когда обнаружили открытое окно, он должен был уйти уже довольно далеко. Вероятность найти его была чрезвычайно мала.

Меня это в данной ситуации заботило меньше всего, ибо я находился рядом с Виктором, чье состояние вызывало у меня сильные опасения. Воспользоваться удобными комнатами верхнего этажа, в которых все говорило об Элизабет, мы сейчас не могли. Нам оставалось только пройти в ту самую гостиную, куда убийца проник с улицы. Эта комната, вероятно задуманная как бальная зала, была около тридцати футов длиной. Мебели в ней было немного. У большой каминной решетки стояла софа, около стены — маленькое пианино. Массивные люстры над головой не горели, а были обернуты чехлами. Из-за того, что комната эта была слишком большой, Франкенштейны редко ею пользовались: они не были сторонниками развлечений на широкую ногу. Вот в этой унылой комнате с удлиненными окнами, за которыми снег не переставая кружил над темным садом, я и сидел со своим бедным другом, не в силах хоть чем-то облегчить его боль. Вероятно, еще страшнее горя, которое он переживал из-за смерти жены и сына, были муки неопишемого раскаяния, перенести которое Виктор был не в состоянии.

Он сидел на полу, уткнувшись лицом в обивку длинной софы.

— Это моя вина... моя вина! О, бедная Элизабет! О, мой мальчик! Что я наделал! — повторял он снова и снова.

Я занялся разжиганием огня в камине, но стенания Виктора не прекращались.

— Лучше было покончить с этим прямо тогда, по свежим следам... сразу, как только я совершил это преступление... — говорил он.

Сначала я думал, что мучения, которые он сейчас переживал, были вызваны тем, что в момент убийства его не оказалось дома, что он был тогда в клубе и не мог ехать домой, ибо испытывал чувство вины из-за своей любви к Марии.

Любой нормальный человек в такой ужасной ситуации вполне бы мог упрекать себя

именно за это. Однако, судя по его словам, Виктор не обвинял себя в том, что отсутствовал в тот момент, когда умирали его жена и ребенок. Не упоминал он и о том, что необходимо найти и наказать человека, который совершил это злодеяние. Создавалось ощущение, что его страдание вызвано каким-то иным поступком, вину за который он на себя возлагает, и что наказание, положенное ему, обрушилось на его жену и сына.

Я делал все, что было в моих силах, чтобы хоть как-то утешить его и оградить от расспросов, связанных с убийством. Однако разговора с полицейскими избежать не удалось. У него пытались выяснить, имелись ли враги у его семьи, а также просили установить, не было ли совершено наряду с убийством еще и ограбление.

Рассвет застал меня у окна гостиной, а Виктор лежал рядом, на кушетке. По его неподвижному лицу, выражавшему отчаяние и безысходность, непрестанно текли слезы. Взгляд его был устремлен в потолок. Я смотрел в сад, и вдруг мне показалось, что на лужайке, среди деревьев, я вижу фигуру мужчины. Свет был слабый, и туман заполнял пространство между стволами, к тому же рассмотреть эту огромную фигуру среди деревьев было очень трудно еще и из-за того, что она стояла неподвижно в своем укрытии. Я закрыл глаза и открыл их снова. Нет, я нисколько не сомневался, что только что видел фигуру человека, и не какого-то человека, а того самого уродливого великана, что встретился мне недавно, когда я вышел из театра.

— О боже, Виктор! — воскликнул я. — Он здесь, среди деревьев! Это он убийца!

Виктор вскочил на ноги и подбежал ко мне. Я развернулся, выскочил из комнаты и, пролетев по коридору, бросился отпирать дверь, ведущую в сад. Но когда я справился с замками и вылетел наружу, никаких следов фигуры, которую, как мне казалось, я видел, не было и в помине. Я пробежал через покрытую снегом лужайку к деревьям — но и там никого не оказалось. Если только он действительно здесь был, — а я по-прежнему был уверен, что явственно его видел, — он, заметив, что его обнаружили, перелез через садовую ограду. И действительно, у ограды я обнаружил отогнутые ветки старого куста, который рос рядом с грудой сложенных в этом месте деревянных ящиков. Ими он вполне мог воспользоваться, чтобы перелезть через ограду. Мне даже показалось, что я видел его следы на тропинке, которая вела к ограде, однако при тусклом свете утра и из-за снега, который, падая на землю, тут же таял, какие-либо Следы сложно было рассмотреть.

Медленными шагами возвращался я в дом, размышляя о той огромной неуклюжей фигуре, которую, как мне казалось, я видел уже трижды. И не была ли теперь эта фигура лишь плодом моего воображения, результатом сильной усталости и эмоционального истощения? А что, если то самое загадочное существо, которое видел я раньше, и совершило это ужасное убийство? Когда я вновь вошел в комнату, Виктор, с лицом мертвенно бледным и безжизненным, так и продолжал стоять у окна. В свете утра видно было, что на его щеках пролегли глубокие морщины, которых вчера еще не было. Мне показалось, что он постарел лет на двадцать.

— Я подумал, что этот чудовищный великан стоит там, в саду, — сказал я. — Должно быть, я ошибся. Как бы там ни было, если он и стоял, теперь его уж там нет.

Виктор поежился. Я подвел его к камину и накинул ему на плечи плед. Между тем я продолжал:

— Возможно, у меня просто разыгралось воображение, но сдается мне, что какое-то огромное и уродливое существо прямо-таки преследует меня. Два месяца назад я дважды встречал его около реки, у вашего дома, и вот опять увидел его вчера вечером возле театра.

После того как я описал этого человека и его внешность, мне показалось, что глаза Виктора запали еще глубже, как будто мои слова повергли его в состояние еще более глубокого отчаяния. Затем он проговорил низким, глухим голосом:

— Это значит, что он вернулся.

— Ты его знаешь? — спросил я, потрясенный услышанным. — Кто же он?

Виктор встал и вновь подошел к окну.

— Кто он? — повторил я вопрос. — Виктор, скажи мне, кто он? Это твой враг? — Я был уверен, что этот человек и убийца — одно и то же лицо.

Франкенштейн повернулся ко мне, и в полутемной комнате раздался его голос:

— Джонатан, не спрашивай меня, кто он. Не пытайся понять, что все это значит...

Но тут судьба сжалилась над ним и прервала его страдание глубоким обмороком.

7

Виктор пролежал в кровати много дней. Я настаивал на том, что нужно вызвать из Швейцарии его родителей, но он не разрешал мне этого сделать. Когда я заводил об этом разговор, он приходил в сильное возбуждение, и я отступал. По этой причине ответственность за его здоровье легла на меня. В первую очередь мне пришла в голову мысль убедить Виктора уехать из дома, в котором были убиты его жена и ребенок. Я подумал даже о том, что убийца может вернуться, дабы нанести еще один удар, ибо мотивы его преступления оставались неясными. У меня возникли большие сомнения относительно того, что это был просто вор, который забрался в дом, чтобы пожить, но, застигнутый врасплох, решил избавиться от свидетелей, которыми оказались невинная женщина и ее ребенок. Однако Виктор отказался переезжать к миссис Доуни, которая очень ему сочувствовала и согласилась принять в своем доме незнакомого человека. Он упорно настаивал на том, чтобы остаться в своем доме, и я сдался, решив, что наши постоянные споры могут помешать его выздоровлению. Поэтому кроме двух сиделок я нанял еще и парочку здоровенных охранников, чтобы те постоянно следили за домом.

Первую неделю Виктор пролежал в лихорадке, но вскоре состояние его улучшилось. Тогда-то я и решился спросить его, что он думает о том человеке в саду и не считает ли он, будто человек этот причастен к убийству. Но Виктор все время твердил одно и то же:

— Я ничего не могу тебе сказать. Нужно говорить либо все, либо ничего. А я не могу, не могу этого сделать. — И с этими словами от отворачивал от меня свое измученное лицо.

— Виктор, — настаивал я. — Умоляю, скажи мне! Опиши этого человека. Скажи, как он с тобою связан.

При этом он поворачивал ко мне свое лицо со следами слез и шептал:

— Джонатан, пожалуйста, оставь меня.

И я вынужден был уходить ни с чем, несмотря на то, что понимал: с таким тяжким грузом на душе моему другу будет очень трудно полностью поправиться.

Между тем Хьюго и Люси Фелтхэм, узнав о смерти Элизабет Франкенштейн и ее сына, приехали в Лондон, чтобы побыть с Виктором и помочь ему, чем только возможно. Время шло, и здоровье Виктора восстанавливалось.

8

В это же самое время из Шотландии приехала сестра миссис Доуни, миссис Эллис Фрейзер. Она, как правило, путешествовала без мужа, ибо супружество ее представляло собой один из тех удобных союзов, счастье которых зиждется в некоторой степени на том, что муж и жена какое-то время проводят порознь. Однако в длительные путешествия миссис Фрейзер всегда брала с собой надежного молодого человека двадцати годов от роду, которого звали Дональдом Гилмором. Он оберегал ее в пути и сопровождал везде, куда она изъявляла желание пойти. Но непосредственно в Лондоне Гилмору мало что приходилось делать, поэтому его стали привлекать (по той причине, что он проявлял особое умение в плотницком деле) к починке дома миссис Доуни, если в этом возникала необходимость.

Через несколько недель после ужасного убийства миссис Фелтхэм заявила, что Виктору надлежит наконец выйти из дома, ибо его состояние уже позволяет ему это сделать. В результате чего небольшая компания, в составе которой были Виктор, Хьюго и Люси Фелтхэм, прибыла к нашему дому на Грейз-Инн-роуд. Молодой Гилмор находился в это время у открытой входной двери, ибо ему дано было задание подправить ее снизу, так как дверь просела и стала плохо открываться. Я как раз вышел в холл, чтобы выглянуть на улицу и выяснить, не едут ли гости. Тут они и появились, так что я оказался непосредственным свидетелем событий, произошедших после того, как гости вышли из экипажа. Виктор, тщательно укутанный в шарф, еще очень слабый, шел к входной двери, опираясь на руку Хьюго. В этот самый момент Гилмор, увидев троих человек, которые собирались войти в дом, выпрямился и встал рядом с дверью, чтобы дать им пройти. Когда гости поравнялись с молодым человеком, тот бросил беглый взгляд на Виктора. Лицо больного было наполовину закрыто шарфом, и паренек почему-то стал очень внимательно его разглядывать. Ко всеобщему нашему удивлению, Гилмор вдруг резко прокричал: «Франкенштейн!» — и, охваченный страхом, бросился вниз по ступеням прямо на улицу. Я слышал, как он еще раз прокричал с улицы: «Франкенштейн!» — и убежал в неизвестном направлении.

Миссис Доуни, спустившаяся к двери гостиной, чтобы встретить гостей, в недоумении спросила:

— Что случилось? Куда это Гилмор убежал? Однако никто из нас не мог ей ответить на этот вопрос.

Я закрыл входную дверь, и мы все направились в гостиную пить чай. Когда Виктор расположился у камина, миссис Доуни спросила его, как так получилось, что он знает этого человека, слугу миссис Фрейзер. Однако Виктор был удивлен не менее, чем все остальные, и сказал, что, насколько он понял, человек, с которым он столкнулся в дверях, является нанятым для работы по дому плотником и что он, Виктор, не имеет ни малейшего представления о том, кто этот парень и откуда.

— И право, загадка, — заключила миссис Доуни, разливая чай.

— А ведь он назвал вас по имени, Виктор. Разве не странно? — продолжала допытываться Люси Фелтхэм. Однако миссис Доуни, почувствовав, что гостю разговор этот не очень приятен, и памятуя о том, что Виктор едва оправился от тяжелой болезни, умело направила беседу в другое русло. Благодаря ее ловкости и доброжелательности, этот недолгий визит прошел удачно. Затем мы переключили внимание на миссис Доуни, которая, развлекая всех нас, очаровательно играла и пела.

И все же, после того как наши гости ушли, миссис Доуни, узнав у служанки, что Гилмор так и не вернулся, серьезно и печально на меня посмотрела и завела разговор о том, почему же он все-таки убежал.

— Сестра будет очень расстроена, если он не вернется, — заключила она, — так как этот паренек при ней с самого детства. Отец Дональда, рыбак из Оркнея, утонул в море, когда мальчику было двенадцать, и мать его тоже умерла, поэтому деревня отправила сироту к его единственному родственнику, который служил у моей сестры дворецким. Миссис Фрейзер нашла для него работу и помогла ему, как я понимаю, обучиться плотницкому делу (ибо в то время никаким ремеслом он не владел). С тех пор он и живет у них в доме.

После этого мы несколько раз повторяли друг за другом: «И как это могло случиться, что молодой человек, который большую часть жизни своей провел в Шотландии, мог знать Виктора Франкенштейна?» А миссис Доуни нет-нет да и повторяла: «Молодой Дональд — самый надежный в мире человек. И что это его толкнуло на такой поступок?»

Миссис Фрейзер, вернувшись домой, была очень удивлена и расстроена исчезновением Гилмора. Она не могла понять, откуда ее слуга мог знать Виктора, и тем более не могла взять в толк, почему появление моего друга вызвало у паренька такой страх. Было решено, что, если на следующий день Гилмор не вернется, мы начнем его разыскивать. Когда вечером мы отправлялись спать, он так и не появился.

Однако на следующий день за завтраком служанка сообщила, что рано утромпустила дрожащего Гилмора домой.

При этом она добавила: парень ни за что не соглашался войти, пока она не убедила его в том, что человек, которого он называл «доктором», уже ушел. «Лучше уж я пешком пойду обратно в Шотландию», — сказал он ей тогда.

Я предложил пригласить юношу и спросить у него, чем объясняется его поведение. Бедный Гилмор, вызванный к нам, вошел в комнату, сжимая в руках шляпу. Это был коренастый, крепкий парень с рыжими волосами. Он обладал хорошим чувством юмора и часто вел себя как веселый, жизнерадостный человек, но теперь ему явно было не до смеха.

Начала «допрос» миссис Фрейзер, церемонно объявив, что он повел себя очень плохо, сбежав без разрешения и проведя вне дома всю ночь. Она заявила, что всегда держала его за человека надежного и честного и теперь не понимает, что это на него нашло. Она никак не может допустить, чтобы он бегал ночью по улицам, и желает выслушать его объяснения. Молодой человек ответил достойно, но не очень решительно. Он просил его простить, в том числе и за то, что объяснений на этот счет он дать не может.

Миссис Фрейзер залилась краской и заявила, что если вначале она просила у него объяснений, то теперь она их просто-напросто требует. Гилмор уставился на ковер и ответил:

— Мадам, я не могу этого сделать.

Тут женщина и вовсе утратила контроль над собой. Я видел, какая гроза разразилась над головой бедного Гилмора, и понимал, что разъяренная хозяйка может его выгнать.

И в этот момент паренек обратился ко мне умоляюще:

— Сэр, эта ужасная история никак не подходит для женских ушей. Поэтому-то я и не могу ее рассказать. Я никогда никому ее раньше не рассказывал — ни тете, ни дяде, так как понимал, что эта история очень бы их расстроила.

Вид обеих дам, миссис Доуни и миссис Фрейзер, выражал одновременно и требовательность, и сдержанность. Такой вид обычно принимают женщины, услышавшие, что предмет разговора не для их ушей. Затем миссис Фрейзер заявила следующее: как бы неуместно в присутствии дам ни звучала история Гилмора, она, миссис Фрейзер, будучи его госпожой, имеет полное право знать все, ибо в противном случае ей придется пересмотреть

свое мнение по поводу его пригодности для нее в качестве слуги. Дескать, она опечалена мыслью о том, что ей придется пуститься в обратное, очень непростое и далекое путешествие из Лондона в Шотландию с человеком, который в любой момент может неожиданно от нее сбежать. Удрученный паренек уверял свою хозяйку, что он никогда не допустит ничего подобного.

В итоге мне пришлось предложить дамам свои услуги. Я решил пойти с Гилмором в какое-нибудь тихое местечко, поговорить с ним и узнать причину, побудившую его убежать, а затем рассказать женщинам лишь то, что сочту необходимым и приемлемым для их ушей. На это мое предложение миссис Фрейзер и ее сестра холодно согласились. Сопровождаемые их полными упрека взглядами, мы с Гилмором удалились из комнаты и направились в близлежащий трактир. Там я заказал ему пинту эля, и в ожидании, пока принесут наши кружки, мы расположились за столиком поближе к огню. Тогда я попросил его начинать свой рассказ.

Он устремил на меня честный взгляд и, располагая к себе своим мягким акцентом выходца из Оркни (кстати, говорил он неплохо, так как был хорошо воспитанным молодым человеком), поведал ужасную историю, которая перевернула все мои прежние представления о Викторе Франкенштейне.

9

Мы были в таверне одни, когда Гилмор начал свой рассказ.

— Я встретил доктора Франкенштейна, — проговорил он, — еще до того, как приехал на Большую землю. Я был тогда мальчишкой и жил с отцом на острове Оркни. Моя мать умерла еще во время родов. Жизнь у нас была бедной. Нашу унылую маленькую деревушку, расположенную на побережье, с остальным островом связывала только дамба, и ту море не накрывало только дважды в день, во время отливов. Жизнь наша была тяжелой. В деревне всего-то было десять семей, и все же земля эта едва могла нас прокормить. Жили мы в основном за счет рыбной ловли в суровых морских водах, земля же не была плодородной. Среди нас богатым считался тот, у кого был полный набор кухонной утвари, да еще у кого в доме имелось достаточно кроватей, чтобы все члены семьи могли выспаться в тепле. Запас топлива, которого хватило бы на всю зиму, считался роскошью. Богачами также считались те, кто просто не голодал. Я рассказываю вам сейчас о нашей бедности и неуверенности в завтрашнем дне (простите мне это отступление) только для того, чтобы объяснить, на какое дело согласился потом мой отец, почему начал он работать на доктора Франкенштейна.

— Франкенштейн приехал на остров? — спросил я.

— Он жил там, — ответил Гилмор. — Однажды доктор приехал туда, везя за собой повозки, и занял большой пустовавший дом на холме за деревней. Дом этот в давние времена принадлежал контрабандисту, который жил еще и тем, что грабил суда, потерпевшие кораблекрушение, а порой и сам нападал на проходившие корабли. Но за несколько лет до этого события контрабандиста схватили и повесили, и делам его пришел конец. Доктор Франкенштейн привез с собой троих здоровенных помощников, которые делали всю работу по хозяйству. Так вот он и поселился в этом доме.

Гилмор остановился, как бы прислушиваясь к себе, и после некоторого молчания продолжил:

— Отец мой не был джентльменом, да и особенно умным его не назовешь, но меня он

любил и очень за меня беспокоился. Рос-то я без матери, и кроме него единственным во всем мире родственником моим был дядя, только о нем никто из нас уже много лет ничего не слышал. Отец мой переживал, что же со мной станет, если он вдруг утонет в море, ведь я тогда был еще очень молод. А потому он буквально заиклился на деньгах: каждое пенни старался сберечь из тех скудных заработков, что имел. Пришла ему в голову мысль уехать куда-нибудь, хоть бы даже и в Америку, чтобы получить возможность выбраться из тисков бедности и нищеты, которые крепко нас тогда держали. Но вот приехал доктор, и отец начал работать на него, взявшись за дело, за которое браться ему не следовало. Поэтому-то я никогда и не говорил об этом с дядей: он бы очень расстроился, если б узнал, чем занимался мой отец и в чем, к моему глубокому сожалению, я ему помогал. Много лет я боялся разоблачения. Но теперь, став старше, я понял, что, будучи тогда мальчиком, исполнявшим поручения отца, сам я не совершал ничего такого уж противозаконного. И все же в юности я провел немало бессонных ночей, раздумывая о том, что же именно происходило тогда на Оркни. Это походило на ночной кошмар, только кошмар тот был реальностью, а она гораздо хуже любого сна.

После этих слов Дональд Гилмор опять немного помолчал, а затем продолжил:

— Думаю, мне станет легче, если я разделю с вами это тяжелое бремя воспоминаний.

Я согласно кивнул, мало задумываясь о том, какое же бремя ляжет на мои собственные плечи, когда я облегчу тяжкую ношу Дональда Гилмора. Но даже тогда у меня возникло подозрение: то, что я услышу сейчас о Викторе Франкенштейне, которого так люблю и которым восхищаюсь, выставит его в неприглядном свете. Однако отрицать знание, как подумал я тогда, — это все равно что отрицать самого Бога. Теперь я в этом вовсе не уверен. Однако в тот момент я ответил:

— Знаешь что, дружище мой Дональд, я не сомневаюсь: каких бы дел ты там ни натворил, сделал ты все это по молодости и по неведению. Так что продолжай спокойно свою историю.

— Земля наша была неплодородной, и урожай, который мы с нее собирали, был чрезвычайно скуден, — проговорил паренек. — Вы, конечно, можете себе представить, под каким впечатлением были мы, бедняки, жившие на этом суровом побережье, когда в один прекрасный день по единственной улице нашей деревни проехали груженные повозки из Лервика, которые затем покатили дальше, преодолевая тяжелый подъем на холм, к тому самому месту, где стоял старый заброшенный дом контрабандиста. Приземистый дом этот был сделан из камня, стоял он над обрывом, и было в нем какое-то особое достоинство. Главные окна выходили на море. Перед домом располагался внешний двор, переходивший в мощеный внутренний дворик, где возвышались два больших каменных строения — конюшня, в которой можно было разместить нескольких лошадей, и сарай. И сам дом, и оба эти строения уже пришли в упадок. Доктор без проволочек приступил к их ремонту, доведя до сведения населения острова, что он ученый и что ему необходимо помещение для работы. Предполагалось, что в этих зданиях разместятся его лаборатории. Нам-то это все мало о чем говорило. Радовало уже и то, что мы сможем получить у него хоть какую-то работу: мужчины — по строительству, а женщины — по уборке дома. Мы надеялись, что и в дальнейшем сумеем поработать на нового хозяина, однако, как только дом был подготовлен к размещению, доктор Франкенштейн ясно дал нам понять, что больше в нас не нуждается. Более того, двое здоровенных детин теперь несли вахту у его владений, охраняя их ночью и днем. Эти парни останавливали каждого, кто подходил к дому, и подробно расспрашивали,

зачем человек пришел. После этого они объясняли, что доктора не следует беспокоить, и, как правило, всех выпроваживали. Начиная с этого времени мы почти не видели доктора Франкенштейна, а встречали разве что его лошадь, свободно разгуливавшую по улице. Так что расположение местного населения к ученому, появившееся было на первых порах, со временем улетучилось. На смену ему поползли слухи: якобы доктор знается с черной магией, якобы в конюшне у него находится какое-то странное животное, которое никто никогда не видел. И, сказать по правде, странные звуки действительно долетали до деревни, когда ветер дул со стороны дома. То были звуки, подобных которым мы никогда ранее не слышали. Будучи людьми невежественными, мы порешили между собой, что у него там, должно быть, лев или тигр, а может, медведь, и были очень разочарованы тем, что он не позволял нам пройти в дом и посмотреть на его зверя. Ну а потом начались все наши беды. Доктор Франкенштейн, пока он ремонтировал и готовил к переезду дом, частенько пользовался маленьким, но прочным суденышком моего отца, перевоза на нем разные грузы. И вот однажды ученый спросил отца, не может ли тот сплавить на своем судне в Лоу-Кантриз и взять там один груз, о котором он никогда и никому не должен говорить. Мой отец согласился и договорился с доктором, что пойдет под парусами, ибо путешествие это было немалое для такого легкого суденышка. Кроме моего отца и меня отправиться должны были еще Франкенштейн и два его человека. Остальные люди доктора оставались охранять дом. Путешествие наше прошло удачно. Высадились мы в Остенде, где взяли на борт какие-то деревянные ящики, самый большой из которых доставлен был по морю из Дьепа, а на одной из его наклеек значилось слово «Париж». Размером где-то десять на восемь футов, он, судя по всему, был заполнен жидкостью. Хлюпающий звук внутри него был слышен довольно явственно, потому мы так и заключили. К тому же он был таким тяжелым, что в Остенде, для того чтоб поднять его на борт, нам пришлось воспользоваться лебедкой, и это очень встревожило доктора, так как он знал, что на нашей пристани в Оркни такого оборудования не сыщешь. Через два дня мы вернулись и приступили к разгрузке. Самый большой ящик, то есть тот, в котором содержалась жидкость, выволокли с судна и поставили на поджидавшую нас телегу с помощью веревок и блоков, коими мы пользуемся, когда подтягиваем суда к берегу. Затем телеги стали медленно подниматься в гору, к уединенно стоявшему дому доктора, но из-за большого веса главного груза и из-за прочих сложностей доктор Франкенштейн попросил моего отца отправиться вместе с ним и помочь с разгрузкой. Меня отец оставил тогда у соседей. Так и отправилась эта группа: один впереди с фонарем, так как было уже поздно, другие (в том числе и доктор) рядом с телегой и позади мой отец, поддерживая и подталкивая воз вперед. Хоть отец и отправил меня тогда к соседям — я к ним не пошел. Вместо этого я отправился за повозкой и стал свидетелем того, в чем оказался виновен мой отец.

— Дональд, ты же не можешь обвинять родителя в том, что он согласился предоставить свои услуги там, где это было необходимо, — начал было я. — Он ведь всего-навсего переправил свое судно на Большую землю.

— Нет-нет, я говорю не об этом, — заверил меня Гилмор. — Все из-за того большого ящика или, вернее, из-за его содержимого...

Молодой человек остановился. Все время, пока он вел свой рассказ, его лицо оставалось очень серьезным, а теперь на нем появилось несчастное выражение.

— Представьте себе мальчишку, который никогда не был нигде, кроме Оркни, — наконец сказал он печаль но. — Я даже в Лервике бывал редко. А тут меня свозили в Лоу-

Кантриз, да еще в компании этих мужчин и доктора, который рядом с местным людом был все равно что пришелец с другой планеты. Но после этого меня вдруг отправляют обратно в темный соседский дом, вручив мне в руки зажженную свечу. Разве мог я уйти? Конечно нет! Я тайно отправился за повозкой дальше; мне любопытно было узнать, что такое находится в ящиках. Мне пришлось передвигаться по пастушьей тропе, что вела в обход деревни прямо туда, к утесу, у подножия которого, футах в двадцати, находился дом доктора. С того места я мог все прекрасно рассмотреть. Если б дело происходило при дневном свете и все не были бы так поглощены заботой о тяжелом грузе и о том, как бы он не свалился с повозки, меня бы непременно заметили. Но так уж получилось, что, перед тем как процессия вошла во двор, я устроился в своем надежном укрытии и оттуда смог наблюдать за всем, что происходило внизу. Однако и для этого требовалось мужество, так как под тем самым местом, где я расположился, был сарай, в котором Франкенштейн содержал своего зверя. Уж не знаю, что это был за зверь, но стонал он, бедный, так, будто испытывал невероятные страдания. То ли человек, который держал его до этого, плохо с ним обращался, то ли сам он так любил своего хозяина, что чувствовал, когда тот приближается к дому, — сказать трудно. Но уж стонал этот зверь и ревел так, что меня пробирало до костей. Было очень темно, и волны с силой бились о берег у подножия скалы, на которой стоял дом, поэтому только любопытство, победившее страх, удерживало меня в ту ночь в моем укрытии.

Но вот телега поднялась на самый верх и повернула на мощеную мостовую перед домом. Здесь началась разгрузка. Люди, в том числе и мой отец, стали по очереди снимать с повозки грузы и переносить их либо в дом, либо в здание, расположенное напротив сарая, над которым я сидел, — оно, насколько мне было известно, служило доктору лабораторией. Один из людей вынес факел и установил его перед входом в дом, а Франкенштейн держал в поднятой руке фонарь.

Между тем стоны зверя в старом сарае становились все громче и все жалобнее. Он начал биться в дверь, которая не давала ему выйти на свободу, однако никто из разгружавших телегу не обращал на него никакого внимания. Выгрузку самого большого ящика оставили напоследок, так как это было самой трудной задачей. И вот пришло время и для него. Двое человек стояли в повозке (одним из них был мой отец), двое стояли внизу, и те, что сверху, стали постепенно сдвигать большой ящик к задней части телеги. Доктор же, находясь рядом с телегой, продолжал держать фонарь. План их, по всей вероятности, состоял в том, чтобы толкать этот большой ящик одним концом вперед, на тех двоих, что стояли на земле, а потом толкавшие должны были подхватить ящик сзади. Таким образом постепенно его бы сняли с телеги. Но план не удался. Те двое, что стояли на земле, уже почти приняли ящик, и оставалось только спустить его с телеги, когда зверь, чьи жалобные стенания перешли в непонятное урчание, издал вдруг невероятной силы вопль, приумноженный эхом, и начал неистово биться в дверь своей темницы. Вопль этот так потряс присутствующих (как выяснилось позднее, его слышали даже жители деревни), что один из грузчиков, стоявших на земле, споткнулся. Ящик упал и разбился. Люди отпрыгнули, и крышка соскочила. А там внутри, наполовину погруженное в какую-то жидкость, наполовину возвышавшееся над ней, лежало тело нагой молодой женщины с разметавшимися вокруг золотистыми волосами. Видимо, она лежала все это время вот так, в этой жидкости.

— Мертвая? — спросил я.

— Сначала я подумал, что да, — ответил он. — Я решил — это труп.

— А она что ж, была жива? — изумился я.

— Да, — серьезно сказал парень, — жива. — Она лежала без движения. Вся такая белая. И ее волосы распростерлись по воде. Я до сих пор помню эту картину, она так и стоит у меня перед глазами. До этого я никогда не видел нагой женщины.

— Довольно страшная встреча для первого раза, — заметил я, стараясь замаскировать свой собственный испуг, а про себя подумал: в самом ли деле эта картина, представшая перед мальчиком в полутьме, была реальной? Неужели он действительно видел настоящую женщину? Не был ли то манекен или какой-нибудь редкий вид примата, странным образом похожего на человеческое существо? Легче было принять подобные допущения, чем представить себе, что Виктор Франкенштейн для проведения научных экспериментов импортировал женщину, мертвую ли, живую ли, — это уже не столь важно.

— Что же было потом? — спросил я.

— Доктор очень расстроился. Он кричал, бранил людей за неуклюжесть, а потом бережно поднял женщину и понес ее, с ниспадавшими чуть не до земли волосами, прямо на руках в дом. А существо в сарае все это время продолжало реветь. Я же, как только оправился от шока из-за того, что увидел эту нагую женщину в разбитом ящике, схватил ноги в руки и помчался в то место, где я, как предполагалось, должен был находиться, надеясь, что отец мой никогда не узнает, где был я в ту ночь на самом деле. Так оно и получилось.

— И что, он никогда не говорил с тобой об этом?

— Никогда. Хотя, возможно, с другими и разговаривал. Потом, помнится, ходили слухи, что доктор Франкенштейн привез к себе на Оркни из-за границы женщину, накачанную наркотиками. Но он был богат, а жители деревни бедны. Все мы его боялись, и дальше слухов дело так и не пошло.

— Не очень-то это похоже на жителей Оркни — о них всегда говорили как о смельчаках, — заметил я.

— Когда в животе пусто, то вся смелость в пятки уходит, — ответил Гилмор. — Мужчины наши боялись, что если они донесут на доктора, расскажут, будто он украл человека, или что-то в этом роде, то дело обернется против них самих и их заберут от полуголодных жен и детей.

Я покачал головой.

— Что до меня, Гилмор, то эта история о том, что Франкенштейн привез на Оркни женщину в состоянии наркотического опьянения, никак не вяжется со всем тем, что я знаю об этом человеке.

— Я рассказал все как было, сэр, — испуганно ответил Гилмор. — Это чистая правда. Правда и то, что закончилось все еще хуже. После того события мы не видели этой женщины, хотя доктор еще раз нанимал моего отца. На этот раз отец нужен был ему, чтобы отвезти в Дублин ящик, очень похожий на тот, которой мы видели в последний раз. Но внутри уже не было жидкости. Ящик этот вы грузили в Дублине, и доктор сам остался там на неделю.

Потом он вернулся обратно на корабле вместе с моим отцом, но теперь уж они были без ящика.

Я неожиданно посмотрел Гилмору прямо в глаза, стараясь понять, правду ли он говорит. Передо мной сейчас сидел либо лжец, причем столь искусный, что он сам верил своим собственным выдумкам, либо честный парень, который рассказывал только то, что видел собственными глазами.

— Ты думаешь, в последнем ящике Франкенштейн отвез в Дублин ту самую женщину? — спросил я недоверчиво. — Он оставил ее там и вернулся домой без нее?

— Нет, женщины там не было, — ответил молодой человек, — потому что мы видели ее в доме, пока доктор отсутствовал.

— Вы ее видели? — изумленно переспросил я.

— Потому-то я так уверенно и утверждаю, что она была живой. Да-да, она находилась дома, пока доктор с моим отцом ездили в то путешествие. Франкенштейн оставил тогда только одного из охранников. А тот человек — здоровенный такой парень, — помнится, говорил на каком-то грубом наречии, и никто не мог его понять. Так вот, он, этот здоровяк, как только хозяин уехал, воспользовался удобным случаем, чтобы спуститься в деревню, выпить и найти себе женщину. Тогда-то я и еще один парень, зная, что в доме доктора никого нет, побежали на гору, чтобы разнюхать, куда делась та девушка из ящика. Мы заглянули в дом через большое окно на первом этаже и увидели ее. На кушетке спала молодая леди в голубом платье. В руке она держала какую-то книжку с картинками, из тех, что дают читать детям. По-прежнему длинные светлые волосы ее разметались по кушетке. Она и правда была прекрасна, — сказал Гилмор. — Такая молодая, такая милая, и лицо ее — совсем невинное.

— Она была не мертвой? — спросил я.

— Нет, не мертвой. Потому что, пока мы смотрели, она немного пошевелилась. А мы тогда испугались, что она сейчас проснется и нас заметит, и потому засмеялись и убежали. Молодые еще тогда были, дураки. Но больше уж мы ее никогда не видели. Дом после этого всегда был под охраной. Слухи разрастались. К доктору относились все хуже, да и к моему отцу тоже — ведь он помогал этому человеку. Не знаю, чем бы все закончилось, если б недели через две после того, как доктор с моим отцом вернулись из Ирландии, не проснулись мы однажды оттого, что повозки доктора с грохотом убираются восвояси, катят через нашу деревню, по нашей улице, направляясь к дамбе. Люди Франкенштейна держали зажженные огни, а все его имущество было сложено на повозках. И как только они проехали деревню, мы сразу увидели языки пламени, бушевавшего на горе. Дом доктора сгорел. Правда, сгорел не полностью, так как сложен он был из прочного камня. Но внутри здания все оказалось уничтожено, в том числе и деревянные его части, поддерживавшие крышу. Мы думали, что сам ученый и устроил этот пожар, потому как вся утварь была упакована и заранее погружена в повозки, которые выехали из деревни как раз перед тем, как до нас дошла весть о пожаре. Мы даже толком и не знали, уцелел ли сам доктор, все ли его работники выехали и что случилось с той милой женщиной.

Гилмор остановился и после небольшой паузы продолжил:

— Теперь, сэр, вы, вероятно, понимаете, почему заведя человека, которого вы называете мистером Виктором Франкенштейном, я пустился наутек. Знаете, я и вправду верил, — сказал он, понизив голос, — что он, этот мистер Франкенштейн, не кто иной как дьявол или подобный дьяволу.

И опять, разрываясь между сомнениями и желанием ему поверить, я внимательно всматривался в лицо Гилмора, пытаюсь найти в нем ответ на свой вопрос. Как мог Виктор — этот открытый, честный, серьезный человек, который так любит науку, человек, о котором я не мог помыслить ничего дурного, — как мог он спрятаться вдали от всех, на Оркни, чтобы ставить там какие-то таинственные опыты, которые, как считали местные жители, являлись самыми что ни на есть злодейскими? И все же невозможно было отрицать тот факт, что

Гилмор моментально узнал Виктора, когда тот входил в двери дома на Грейз-Инн-роуд, и что один только вид ученого вызвал у него страх. Наверняка в этой истории есть какая-то доля правды. Возможно ли, чтобы Гилмор все придумал, только чтобы оговорить Виктора? Но что же могло заставить какое-то третье лицо подкупить парня для того, чтобы тот изобрел подобную историю? Я видел единственный способ все объяснить и не поверить в то, что Виктор злодей или любитель черной магии. Дело в том, что Гилмор был в то время еще мальчуганом, и этот мальчик не видел в жизни ничего, кроме своей бедной деревни, потому и истолковал превратно то, что происходило тогда на Оркни.

Однако слова, неожиданно произнесенные Гилмором, мало соответствовали моей удобной теории.

— Теперь я думаю, что не зверя он тогда держал в сарае, — медленно проговорил парень. — Тогда-то я думал, что это зверь, но теперь я считаю, что то был человек, какой-то полоумный идиот, страдавший от боли и непонимания окружающего мира. Но что же делал он тогда с этим существом? Зачем он держал его там все это время?

Я признался Гилмору, что та же самая мысль и мне приходила на ум, пока он рассказывал свою историю. Но я не сообщил ему еще об одной важной вещи: во время его повествования перед моим мысленным взором невольно возникла фигура огромного уродливого существа, встреченного мною когда-то на причале, потом возле театра, а затем среди деревьев в глубине сада Виктора в тот самый день, когда была убита бедная Элизабет. Если Гилмор был прав, то ничего невероятного я теперь не видел в том, что это несчастное существо, которое Виктор держал в сарае (кем бы оно там ни было), вернулось исключительно для того, чтобы вот так чудовищно отомстить за свои страдания. Это объясняло и пассивность Виктора в деле убийства жены, и его убежденность в том, что он каким-то непостижимым образом сам является причиной постигшего их семью несчастья.

И, хоть нельзя отрицать, что человек может быть безгранично жестоким, что находятся и такие злодеи, которые получают удовольствие, принося страдания другим людям, однако поверить в то, что Виктор является одним из них, что он, Виктор Франкенштейн, держал взаперти человеческое существо, над которым жестоко издевался, я не мог. Не верил я и в то, что он захватил женщину и увез ее, беспомощную, на далекий остров ради собственных утех. Поверить в такое было просто невозможно.

Глядя на меня с сочувствием, Гилмор заметил:

— Сэр, мне очень жаль, что я оказался тем человеком, который сообщил такие неприятные вещи о вашем друге. Мне остается только заверить вас, что все сказанное здесь мною — чистая правда.

— Я в этом не сомневаюсь, Гилмор, — сказал я, — но теперь мы должны подумать, как быть дальше. Я расскажу миссис Фрейзер отдельные эпизоды из твоей истории. Думаю, этого будет достаточно, чтобы она успокоилась и оставила тебя в услужении.

На обратном пути меня внезапно охватила тревога. Раз не исключена была вероятность, что этот сумасшедший отслеживает Виктора, значит, он вполне мог следить за ученым и тогда, когда тот приходил к миссис Доуни. В этом был определенный риск. Ведь если этот уродец убил Элизабет (которая даже не была знакома с Виктором Франкенштейном в то время, о котором рассказал Гилмор), значит, в безумстве он с такой же легкостью может мстить Виктору, отыгрываясь и на других его знакомых.

По пути к дому я сказал Гилмору:

— Я до сих пор не могу прийти в себя от твоей истории. У меня возникли подозрения,

что мистера Франкенштейна, возможно, кто-то преследует и что этот «кто-то» хочет причинить ему боль через близких ему людей. Уже убита миссис Франкенштейн. А в доме миссис Доуни теперь две дамы, ребенок и женщины-служанки. Не исключено, что все они в опасности. Как бы правдива ни была твоя история, Гилмор, ты должен обещать мне, что никогда, ни при каких обстоятельствах не оставишь их, как сделал это недавно. В доме всегда должен находиться сильный мужчина, способный к решительным действиям.

Гилмор нахмурил брови и спросил:

— А как вы думаете, кто может быть врагом доктора?

— Я ни в чем не уверен, — сказал я, — но не исключаю, что это и есть то несчастное существо, которое ми стер Франкенштейн держал в сарае, когда жил на Оркни. Мы обязаны сейчас принять меры предосторожности. Лучше, если ты ничего не станешь рассказывать прислуге. Будь начеку, но никому не говори о причинах своей бдительности.

Гилмор согласно кивнул. Он поспешно отправился на Грейз-Инн-роуд, а я подумал о Хьюго и Люси Фелтхэм и о том, что они в полном неведении проводят время с Виктором Франкенштейном на Чейни-Уолк. Должен ли я предупредить их о возможной опасности? Как бы неприятно это ни было, но мне следовало обязательно поговорить с Виктором о том, что рассказал Гилмор, и сделать это было необходимо в ближайшее время. Даже Мария Клементи при выходе из театра — там, где сидело это чудовище, — подвергалась серьезной опасности. Хотел я того или нет, но принимать решительные меры было необходимо.

10

Вернувшись домой, я как можно спокойнее разъяснил миссис Доуни и ее сестрице миссис Фрейзер, что Гилмор, будучи еще мальчиком, встречал Франкенштейна, когда тот проводил научные эксперименты на Оркни. Будучи совсем юным, а также оказавшись под влиянием безграмотного населения деревни, склонного к суевериям и предрассудкам, он воспринял тогда Виктора как некоего колдуна и питал к нему непреодолимый страх. Неожидавшая встреча в Лондоне пробудила в пареньке тот прежний ужас, отчего он и сбежал. При этом я рассказал им, что, по всей видимости, за время, проведенное на острове, Виктор нажил себе врага. А поскольку жена его была убита и убийца ее до сих пор не пойман, было бы разумно принять все меры предосторожности, чтобы никто не смог причинить нам вреда. Я предложил, чтобы дома обязательно все время оставался или я, или Гилмор, до тех пор пока не появятся доказательства, что мои опасения необоснованны, а в случае если леди решат куда-то направиться с визитом, один из нас также будет их сопровождать. Нашлись бы, конечно, дамы, которым приятна была бы подобная забота об их безопасности, но не таковы оказались наши сестрицы, и дело здесь не только в их темпераменте, но также и в воспитании, которое они получили.

Миссис Доуни и миссис Фрейзер были дочерьми адвоката Джона Джессапа, и выросли они в Корнуэлле, в небольшом имении (настолько небольшом, что его можно было бы назвать просто садиком, как весело заметила однажды в разговоре со мной миссис Доуни). Мистер Джессап имел адвокатскую практику в близлежащем городке. Семья их во всех отношениях была благополучной, но небогатой. Миссис Джессап увлекалась чтением (некоторые не прочь причислить таких дам к категории синих чулков), и назвать ее очень уж заботливой мамой было бы трудно. Две ее дочери много времени проводили с деревенскими ребятами: строили с ними запруды, воровали горох на фермерских полях и тому

подобное, — не все родители приветствовали бы такое времяпрепровождение. Однако, несмотря на столь нетрадиционный подход к их воспитанию или же благодаря ему, молодые леди выросли особами либерально мыслящими. Покойный мистер Доуни был сыном партнера мистера Джессапа. После того как они с Корделией составили супружескую пару, состоялся их переезд в Лондон, где всего лишь через восемь месяцев супружеской жизни глава семейства скончался, оставив жене один только дом на Грейз-Инн-роуд. Хорошо еще, что сестра ее матери за несколько лет до того, как случилось это несчастье, оставила бедняжке немного денег, таким образом, миссис Доуни смогла оставить этот дом для себя и своей маленькой Флоры.

Чтоб хоть как-то сводить концы с концами, вдова решила взять постояльца. Как этим постояльцем стал я, рассказывать недолго. За два года до этого я приехал в Лондон, чтобы заняться научной работой. Возникла необходимость найти жилье в том районе города, где находились библиотеки и работали ученые, у которых я брал консультации. Поинтересовавшись в гостинице, у кого можно найти комнаты, я получил рекомендацию и направился прямо к миссис Доуни. Я был несколько удивлен, когда, встретившись со своей будущей квартирной хозяйкой, обнаружил, что это не сорокалетняя дородная вдова, а милая двадцатишестилетняя вдовушка. Как выяснилось, женщина эта всегда руководствуется здравым смыслом во всех житейских делах и под крышей ее дома у меня не будет проблем ни со стиркой, ни с обедом. В результате я снял предложенные мне комнаты. Не прошло и шести месяцев, как я узнал, что являюсь первым постояльцем миссис Доуни, и, как оказалось впоследствии, последним. Но об этом рассказ впереди.

Это отступление поможет мне объяснить, почему миссис Доуни и миссис Фрейзер не любили рекомендаций, за которыми не следовали объяснения. Женщины достойные, они были воспитаны в духе идей, провозглашенных французскими мыслителями типа Жан-Жака Руссо. В соответствии с этими идеями дискриминация в процессе образования и воспитания девочек или мальчиков была недопустима. Такой подход позволил развить в миссис Фрейзер и миссис Доуни любознательность, живость ума и независимость. Их характерам можно было только позавидовать: подобные дамы никогда не приемлют слепое подчинение, не считают мнение мужчин непреложной истиной и не потакают всем желаниям противоположного пола. (Однако на отношения миссис Фрейзер и ее супруга, как я понимаю, это обстоятельство наложило весьма негативный отпечаток.)

И, несмотря на это, как только женщины начали выяснять все подробности, я покинул дом миссис Доуни, предоставив Гилмору участвовать в допросе, который, полагаю, был столь суров, что бедный парень, скорее, предпочел бы оказаться в руках испанской инквизиции. Мне оставалось только надеяться, что он, несмотря на давление дам, не станет слишком подробно рассказывать свою ужасную таинственную историю. К тому же у меня не было иного выбора, как отдать молодого человека на волю судьбы, ибо самому мне необходимо было побеседовать с Виктором.

И все же для начала я решил нанести визит Марии Клементи, чтобы поделиться с миссис Джакоби своими подозрениями по поводу человека, которого я встретил около театра, и узнать, не встречала ли и она это странное существо.

Когда я приехал, Марии не было дома. Меня проводили в небольшую комнатку наверху, где я застал миссис Джакоби склонившейся над грудой театральных костюмов, починкой которых она была занята. Женщина выслушала мое приветствие, не меняя позы, — такой прием трудно было бы назвать сердечным. Обращаясь к склоненной над костюмами голове,

я приступил к своему рассказу, в котором было многое из того, что поведал я дамам на Грейз-Инн-роуд. Я добавил также, что видел недавно ту же громадную фигуру у театра, где выступала Мария, и у меня есть основания подозревать, что это может быть тот же самый человек, которого я заметил у Виктора в саду и который, может статься, и убил его жену. Не исключено, сказал я, что друг мой имеет врага в лице этого человека, а если допустить, что именно он убийца миссис Франкенштейн, то необходимо принять меры предосторожности всем знакомым Виктора. Не знаю, многому ли в этой странноватой истории поверила миссис Джакоби, но, когда я закончил, женщина отложила работу, подняла голову и заявила мне, что она сама уже обратилась за помощью к старому сержанту, служившему у ее мужа, и попросила его обеспечить защиту их дома.

После небольшой паузы миссис Джакоби, очевидно приняв какое-то решение, злобно поджала губы и решительно заявила:

— Что до мистера Франкенштейна, то есть некоторые вещи, о которых вы, по-видимому, не имеете ни малейшего представления. Мое решение нанять крепкого охранника для дома было продиктовано причинами, непосредственно связанными с мистером Франкенштейном, однако я не желаю, чтобы об этом говорили на каждом углу. Я и вам бы ничего не сказала, не явись вы сюда сегодня со своей странной историей. Но вы пришли, и я скажу вам, что произошло здесь не далее как вчера.

Речь шла о вчерашнем дне, а значит, о том самом дне, когда Виктор приезжал к нам на Грейз-Инн-роуд и когда Гилмор, узнав его, сбежал из дома. Миссис Джакоби поведала мне, что Виктор, совсем слабый, прибыл вечером на Рассел-сквер вместе с друзьями, которые очень противились тому, чтобы он выходил из экипажа. Однако дама, которая была с ними, миссис Фелтхэм, подошла к двери и сказала, что мистер Франкенштейн, который сейчас ехал вместе с ними домой, вдруг стал очень настоятельно требовать, чтобы его завезли на Рассел-сквер, так как ему необходимо поговорить с мисс Клементи об одном неотложном деле.

Было очевидно, сказала мне миссис Джакоби, что миссис Фелтхэм и сама не рада была визиту, о котором просила, но предотвратить его она не могла. Она только попросила миссис Джакоби посодействовать тому, чтобы визит этот был как можно короче, ибо мистер Франкенштейн еще не окреп после болезни.

Миссис Джакоби согласилась, правда, как она объяснила мне, очень неохотно:

— Мне было так неприятно, что он пришел. Позвольте уж сказать вам напрямик: перед смертью жены мистер Франкенштейн был охвачен страстью к мисс Клементи, что меня очень тревожило, так вот теперь я боялась, что, несмотря на все перенесенные им страдания, эта его страсть разгорелась с новой силой. Думаю, миссис Фелтхэм тоже это почувствовала, а потому и отнеслась с таким неодобрением к посещению нашего дома мистером Франкенштейном. Я нахожусь здесь для того, чтобы ограждать мисс Клементи от всякого рода скандалов, которые очень часто разгораются вокруг молодых особ, занимающих видное положение. Кроме того, я разделяю вместе с ней все ее беды и радости. Посещение мистера Франкенштейна произвело на меня очень неприятное впечатление.

Судя по рассказу миссис Джакоби, миссис Фелтхэм после разговора с ней направилась ждать в экипаж, Виктор же вышел из повозки и направился в дом. Выглядел он, по словам миссис Джакоби, совсем больным, словно был в лихорадке. Он стал просить, чтобы я дала ему поговорить с Марией, хотя бы минут пять. Он был так возбужден, что миссис Джакоби решила: разумнее будет согласиться на их короткую встречу наедине. Сама же миссис

Джакоби все это время будет находиться в соседней комнате. Это условие поставлено было для того, чтобы она могла ненавязчиво прервать разговор и отправить больного человека домой в сопровождении поджидавших его друзей.

Мария согласилась встретиться с Виктором наедине на пять минут в небольшой гостиной. Миссис Джакоби удалилась в столовую, из которой в эту гостиную вела двустворчатая дверь. Она села и стала смотреть на часы. Стоило только Марии войти в гостиную, как Виктор тут же обратился к ней со страстной речью, однако разобрать, была ли его страстность продиктована любовью или гневом, миссис Джакоби не смогла. Поток его слов не прекращался, и миссис Джакоби уже была готова прервать свидание до истечения пяти минут, как вдруг услышала отчаянный крик мистера Франкенштейна: «Мария! Мария! Ты сведешь меня в могилу!» После этого он вышел из гостиной. А затем и из дома, хлопнув за собой входной дверью.

Миссис Джакоби ринулась в комнату. Мария лежала в кресле, белая как полотно. Конечно, она не могла объяснить, что говорил Виктор и чего он от нее хотел. Ясно было одно: мистер Франкенштейн очень ее расстроил, и расстраивал он ее так уже не в первый раз, как мрачно добавила миссис Джакоби.

— Больше я не позволю ему заходить в наш дом, — сказала она. — Так себя вести — это полное безумие. Я считаю, что он человек больной, а теперь, я думаю, совсем потерял разум. Да и можно ли допустить, чтобы человек в здравом уме возобновил ухаживания за женщиной через две недели — подумать только, через две недели! — после смерти его жены. Что еще мог означать этот его приезд?! А если оно действительно так, то мистер Франкенштейн самое настоящее чудовище. Эта история, которую вы мне сейчас рассказали, о его враге, очень неприятна. Соответствует ли она действительности — я не знаю. Но когда речь идет о таком человеке, как мистер Франкенштейн, я готова всему поверить! Честно говоря, я подумала, когда вы только вошли, что он специально подослал вас, чтобы продолжать свои ухаживания за Марией. Извините меня за подобные подозрения. Что ж, теперь вы понимаете, почему я наняла здорового охранника, который дежурит у входа: я не хочу, чтобы мистер Франкенштейн появился здесь опять. И если вы сами будете руководствоваться здравым смыслом, мистер Гуделл, то примете решение выйти из этого дела как можно скорее. Оно ведь вас никак не касается. И чем дальше вы в него будете втягиваться, тем хуже для вас. Я поднялся.

— Несмотря на все, миссис Джакоби, — проговорил я, — я продолжаю считать мистера Франкенштейна своим другом и собираюсь сейчас поговорить с ним и попытаться ему помочь.

— Ну что ж, желаю удачи, — сказала миссис Джакоби. — И еще хочу добавить: прислушайтесь к моему совету и увезите его в какое-нибудь тихое местечко, подальше от Лондона. Тогда с вашей помощью он бы постепенно поправился и пришел в себя.

Когда я выходил из дверей, к дому подъехал экипаж. В нем я увидел Марию Клементи, какую-то молодую женщину (как мне показалось, ее служанку) и этого дегенерата Габриэля Мортимера в его бордовом костюме. На голове у него красовалась высокая зеленая шляпа, из-под которой выбивались черные кольца кудрей. Казалось, обе барышни смеялись над какими-то его остротами. Не имея ни малейшего желания встречаться с этими людьми, я развернулся в другую сторону, сделав вид, что не заметил их, и быстро зашагал в противоположном направлении, высматривая экипаж, который довез бы меня до Чейни-Уолк.

Мысли мои вернулись к веселой компании, которую только что увидел я в экипаже. Как может дама столь деликатная и тонкая, как Мария Клементи, состоять в таких близких отношениях с этим отвратительным типом? И вообще, какие странные люди живут в этом доме! Даже миссис Джакоби, несмотря на свое внешнее достоинство, не вызывала у меня полного доверия. Я так и не мог для себя решить, играла ли она именно ту роль, на которую претендовала. Была ли она и в самом деле верным другом и защитником Марии, и не вынашивала ли она корыстные замыслы.

Пока я ехал в Челси, повалил снег. У меня было тяжело на сердце из-за предстоящего неприятного разговора с Виктором, но уйти от этого разговора я не мог. Прошло всего несколько недель с тех пор, как я пришел к Франкенштейну с увещеваниями изменить поведение по отношению к жене. И вот я опять навязываю ему разговор о какой-то постыдной, скрываемой доселе тайне из его прошлой жизни. «Так не годится, — подумал я про себя. — Мне надо как-то выкарабкаться из этой липкой паутины тяжелых дел, которые лежат на совести Виктора и в которых каким-то образом замешана эта непостижимая Мария».

Приехав к Фелтхэмам, я, к своему облегчению, услышал, что миссис Фелтхэм нет дома, поскольку она отправилась в гости к друзьям. Мне не хотелось в ее присутствии ворошить призраки прошлого, и еще меньше было у меня желания отзывать Виктора в отдельную комнату для переговоров.

Меня проводили в кабинет, где я и нашел своего друга сидевшим в кресле перед жарко горящим огнем. Колени его были накрыты пледом. Хьюго стоял, небрежно облокотившись на письменный стол, на котором я увидел наполовину пустую бутылку с кларетом. Когда я вошел, они оба смеялись. Увидев такую картину, я почувствовал себя довольно глупо. Ну вот, здесь все хорошо. Я, видите ли, явился со своим мрачным расследованием, собираюсь допытываться о прошлом моего друга, предупреждать его о какой-то опасности, якобы угрожающей этому дому. А Виктор сидит здесь спокойно, с бокалом вина в руке, радуется этому прекрасному дню и явно чувствует себя лучше. Я внимательно смотрел на него, пока мы здоровались, и никак не мог поверить, что это и есть тот самый человек, который с таким отчаянием взывал к Марии Клементи, человек, у которого совсем недавно были убиты жена и сын и муки раскаяния которого я недавно наблюдал. Неужели этот человек уже теперь, когда не остыли еще в могилах трупы его жены и ребенка, как и полагает миссис Джакоби, возобновил свои ухаживания за Марией Клементи? Но у меня была еще история Гилмора, поведавшего мне о том, что произошло на Оркни. Сердце мое отказывалось подчиняться доводам разума. Невозможно было поверить, что Виктору вообще есть за что себя упрекать. Но нет, я пришел в этот дом с конкретной задачей, и, как бы неприятна она ни была, мне следует ее выполнить. Я понимал, что разговор, который мне придется сейчас завести, может привести к тому, что я навсегда потеряю друга.

Виктор начал с того, что предложил мне вина, от которого я отказался. Я спросил его, где те два охранника, которых я нанял; почему их не видно, ведь тот безумец, что убил Элизабет и ребенка, до сих пор на свободе, а я, подъехав к дому, не обнаружил и следов присутствия здесь охраны.

— Ах да, — вздохнул Виктор в ответ, — я с ними рассчитался и сказал, что они свободны. Мне не нравится, что они тут болтаются. И вообще, я пришел к выводу, что люди из магистрата правы: убийцей действительно был вор. Жена моя случайно попалась ему под руку, и он убил ее, чтобы не оставлять свидетелей. В магистрате считают — и я с ними

вполне согласен, — что вряд ли убийца вернется на место преступления.

Тогда я, чувствуя, что в голосе моем меньше уверенности, чем в словах Виктора, спросил:

— А кто же тогда тот человек, которого я видел среди деревьев у тебя в саду в ночь убийства? Ведь это его я встретил в тот же вечер, незадолго до момента совершения убийства, около театра, где выступала мисс Клементи.

— Лично я никогда не встречал этого человека ни при каких обстоятельствах, — ответил Виктор. — Его вообще, насколько я понимаю, больше никто не видел, кроме тебя.

— О боже! — взорвался я. — Ты хочешь сказать, что он мне померещился? Виктор! Не надо обманывать ни себя, ни своих друзей! Что-то очень неприятное стоит за всем этим. А того молодого человека, что так внезапно покинул дом моей хозяйки при твоём появлении, зовут Дональд Гилмор. Он слуга сестры миссис Доуни, сын рыбака, которого ты нанимал для перевозок, когда жил на острове Оркни. Ты не узнал его по той причине, что он тогда был еще мальчиком. Теперь же Гилмор взрослый мужчина, но он узнал тебя сразу же, как только увидел твое лицо. И он назвал тебя по имени! Он рассказал мне о женщине, которую когда-то привезли к тебе на остров на суденышке его отца, рассказал и о том существе, которое ты держал в сарае, об охране, которую ты тогда выставил вокруг своего дома, о пожаре... Виктор! Неужели ты не допускаешь мысли, что все это тем или иным образом связано с уродливым великаном, который явно следит за тобой и к которому, как ты прекрасно знаешь, убийство твоей жены и сына имеет самое непосредственное отношение? Ради своей же безопасности и ради нашего общего спокойствия будь откровенен!

Виктор вел себя безукоризненно, он прекрасно владел собой. И все же я заметил, что лицо его стало очень бледным. Хьюго с изумлением смотрел на меня.

— Джонатан, о чем это ты говоришь? — спросил он. Виктор же сказал только одно:

— Так это тот паренек из Оркни. Да, он был совсем мальчишкой, когда я там жил. Местные рыбаки меня невзлюбили. Они меня и в самом деле боялись. В этом отдаленном местечке я надеялся найти возможность проводить научные эксперименты, но в конце концов из-за негостеприимного и подозрительного местного люда мне пришлось покинуть эти края. Я выставил около дома охрану, потому что знал нравы рыбаков. У меня были все основания допускать, что однажды ночью, разгоряченные выпивкой и пламенными речами в голой избе, прозванной у них таверной, они всей ватагой направятся ко мне и испортят всю мою работу. Я действительно полагаю, что пожар, спаливший мой дом, могли затеять они. А вообще, Джонатан, я не в восторге оттого, что ты решил обсуждать меня и мои проблемы со слугой сестры твоей домохозяйки, что придаешь значение рассказам этого парня и его мальчишеским выходкам. И после этого ты еще приходишь сюда и начинаешь болтать о каком-то воображаемом чудовище, моем враге...

Я был потрясен его столь категоричным ответом. И все же существовал по крайней мере один факт, который Виктор не мог бы отнести к категории слухов, поэтому я не сдержался и выкрикнул:

— Я видел того человека у тебя в саду! Его появление тебя расстроило. Ты говорил еще тогда о собственной вине...

— Это было через несколько часов после убийства моей жены и единственного сына, — сказал Виктор резко и холодно.

Я стоял неподвижно, потрясенный до такой степени, как если б он меня ударил. Либо я все это придумал, либо мой друг Виктор хладнокровно лжет.

Хьюго попытался нас помирить.

— Джонатан, — начал он, — если речь идет о какой-то старой истории, что рассказал тебе этот Гилмор, то будет лучше, если мы потом к ней вернемся. Виктор долго был болен, он и сейчас еще не совсем поправился.

— Болен не настолько серьезно, чтобы это помешало ему вчера выйти на Рассел-сквер из экипажа, направлявшегося домой, и устроить шумную сцену мисс Клементи, — сказал я.

— Так, значит, ты говорил обо мне с компаньонкой мисс Клементи, которая состоит у этой певицы на жалованье! Слуги из того дома, где ты живешь, тебе оказалось недостаточно! — презрительно бросил Виктор. — Что ж, Джонатан, благодарю тебя за интерес, проявленный к моим делам. А может, ты хочешь поговорить обо мне с моим швейцаром? Давай я представлю тебя мальчику, который чистит мне ботинки! — Он остановился и вновь овладел собой. Продолжил он уже более дружелюбно: — Я встречался с мисс Клементи, чтобы попросить ее возобновить наши занятия, так как они действуют благоприятно как на нее, так и на меня, ибо, если я начну работать и мой ум будет чем-то занят, я смогу быстрее отвлечься от произошедшей недавно трагедии. Чем раньше мы начнем — тем лучше для меня. Джонатан, дорогой мой, давай забудем все, что мы сегодня наговорили здесь друг другу. Пусть это останется между нами. Почему бы тебе не сесть сейчас вместе с нами и не выпить бокал вина? Ну что, остаешься?

Хьюго, который никак не мог взять в толк, что происходит, поддержал Виктора:

— И право, Джонатан, оставайся. Почему бы нам не посидеть вместе, вчетвером: ты, Виктор, Люси и я, — и не поговорить, как бывало раньше?

Однако я покачал головой и ответил в замешательстве:

— Нет-нет... не могу. Я должен идти. Виктор... я очень сожалею, если сказанное мною тебя расстроило. Я должен идти. И все обдумать...

И я, спотыкаясь, вышел из комнаты. Никогда еще не находился я в столь подавленном состоянии, как теперь. Вся сцена заняла не более десяти минут, однако за это время я вызвал гнев Виктора, привел Хьюго в состояние шока и действовал, как мне теперь казалось, подстать глупцу или злодею. Такие вещи прощаются, но они никогда полностью не стираются из памяти. Я ругал себя и старался идти как можно быстрее, словно хотел поскорее убежать от самого дома Виктора. Я шел по скользкой дороге, а над моей головой вихрем кружился снег. И вдруг, несмотря на эту снежную карусель, я увидел в сотне ярдов от себя какую-то фигуру. Она мрачно темнела среди окружавшей меня белизны. Фигура эта возвышалась на вершине стены, окружавшей сад Виктора. Когда я посмотрел туда, человек на стене задвигался, поднялся повыше и встал на колени. Затем он резко перемахнул через стену и упал футов с десяти прямо на землю. Трудно было понять, где его руки, где ноги. Однако, оказавшись на земле, он в тот же миг принял вертикальное положение и, как-то странно скособочившись, побежал вдоль дороги. Он был громаден, и мне стало ясно, что это тот самый человек, которого я видел раньше и чье существование Виктор так настойчиво отрицал. Это странное существо снова следило за домом Виктора.

Я как можно быстрее побежал за ним, выкрикивая на ходу:

— Стойте! Остановитесь же! Я должен с вами поговорить!

Я даже не сообразил, что, кроме нас двоих, вокруг никого не было, и, догони я его сейчас, встреча эта могла бы закончиться для меня плачевно. Он продолжал бежать, хотя и оглядывался на меня через плечо, затем значительно увеличил скорость, что показалось мне чрезвычайно странным, так как для хромого человека он передвигался слишком быстро, к

тому же дорога сегодня была очень скользкой.

Если бы кто-то со стороны увидел эту гонку, где оба ее участника — и преследуемый, и преследователь, — неуклюже скользя по мокрой дороге, бежали один за другим через снежный вихрь, он бы нашел ее комичной. На самом же деле мы оба старались изо всех сил: я — поймать его, а он — убежать.

Человек пересек дорогу и побежал в сторону реки. Я следовал за ним. И вдруг снежный вихрь порхнул мне прямо в лицо, да так неожиданно, что на какое-то время ослепил меня. Когда я отер снег с лица, человек исчез, но я знал, куда он ускользнул. Он вернулся на тот самый причал, где я впервые его встретил. Поэтому я пошел вперед по отмели, поднялся на пристань (как раз был отлив) и забрался на причал. Подняв голову и оглядев каменную поверхность дока, я увидел сквозь пелену снега сначала пару ног, затем туловище и, наконец, всю фигуру. Это был мужчина с рюкзаком за спиной. Он стоял ко мне лицом. Пока он подозрительно меня оглядывал, я обратился к нему с вопросом:

— Вы не видели здесь хромого человека?

Из его ответа: «Зачем он вам нужен?» — я заключил, что тот, кого я разыскиваю, находится здесь, однако не хочет, чтобы я его видел.

— Кто он такой? — спросил я. — Как его зовут? Мужчина разглядывал меня через снежную пелену.

— Чего он такого сделал? — поинтересовался мой собеседник.

— Я не знаю, — сказал я. — Но кто же он?

Мы кличем его Обероном, — ответил встречный. — Ну, в шутку, сам понимаешь. Как короля фей.^[15] А настоящего его имени мы не знаем. Сам-то он ничего не говорит — слаб на голову. Зато сила у него есть, и делает он все, что ему говорят. Так что его здесь держат, платят ему объедками с общего стола и медяками. Спит он вон в том сарае, а ночью еще стоит на карауле. Но я не пойду туда — его лучше не трогать. По большей части он кроток, как овечка, но бывает, что на него находят приступы ярости, и тогда он становится опасен.

— Я должен поговорить с ним, — сказал я.

— Я ж тебе объясняю — он слаб на голову, ты ничего от него не добьешься. Но если хочешь, иди, он вон там, в том сарае. А я отнесу эти дрова домой.

С этими словами он тяжело побрел по пристани, а оттуда начал подниматься по лестнице на дорогу.

Немного подумав, я пошел к деревянному строению, на которое мне указали как на жилище великана, и толкнул дверь. Площадь этого помещения была футов десять, и использовалось оно под склад. В глубине его почти до крыши были навалены ящики и бочки, справа лежал свернутый кольцами канат и стояла кирка. Слева же расположенный между грудями ящиков маленький коридорчик фута в три шириной вел к свободному месту в конце помещения, где находилось некое подобие кровати. В тусклом свете я увидел скрючившегося человека. Огромная фигура мужчины, которого издевательски прозвали Обероном, вся как-то сжалась. Так сжимается разве что ребенок, решивший спрятаться в шкафу.

Сначала я не мог рассмотреть выражения его лица, но когда, поборов страх, я сделал шаг вперед, то увидел его зубы, обнажившиеся от страха, как это бывает у приматов.

— Эй, парень... человек, — проговорил я, — кем бы ты ни был, ответь мне на один вопрос: почему ты отслеживаешь Виктора Франкенштейна?

Когда я произнес это имя, он вздрогнул, словно от толчка, отчего мне пришлось сделать шаг назад, так как мне показалось, что он хочет на меня напасть. Но он вскоре опять

погрузился в апатию и стал издавать какие-то звуки низким, хриплым голосом. Звуки эти походили скорее на урчание, и смысл их уловить было невозможно. И все же мне показалось, что он хочет что-то сказать.

— Ну давай же, — попросил я. — У меня нет желания причинять тебе вред... но я видел тебя в саду мистера Франкенштейна однажды ночью, а сегодня опять видел тебя там, на изгороди. Что тебе от него надо? Что ты там делал?

И тут я рассмотрел его в тусклом свете сарая. Он плакал отчаянно и безнадежно, всхлипывая и растирая по лицу слезы рукавом того самого черного пальто, которое все время носил. И я, относясь к нему с опаской, да и сейчас его побаиваясь, вдруг почувствовал к нему жалость. Мне показалось, что сквозь рыдания и урчание я смог все-таки разобрать одно слово. «Невеста, невеста, невеста», — казалось, твердил он без конца.

Я повторил его слово и вновь обратился к нему с вопросом:

— Невеста? Ты говоришь, невеста? Какая невеста?

Я вдруг с ужасом представил себе, что смерть настигла бедную Элизабет Франкенштейн из-за того, что этому заблудшему существу, которое сидело напротив ее дома и наблюдало за каждым ее шагом, пришло вдруг в голову, что она должна принадлежать ему. Тогда чудовище ворвалось в дом и, столкнувшись с сопротивлением Элизабет, убило и ее, и ребенка, который оказался вместе с ней. Мысль об этом трудно было вынести.

А великан уже поднялся и, брызжа слюной и спотыкаясь, начал выкрикивать какие-то звуки. Но из его бессвязной речи мне по-прежнему удавалось разобрать только одно: «Моя невеста! Моя невеста!» Он сделал шаг в моем направлении. У него были карие глаза, очень большие. Они горели. Я не мог понять, обращается ли он ко мне за помощью или угрожает, а потому стал отступать к двери, хотя в это время мне показалось, что я начал уже кое-что разбирать в его бессвязной речи.

— Он... забрал... мою... невесту, — казалось, говорил этот человек.

У меня не хватило мужества остаться и выяснить, что именно он имеет в виду. Снежный вихрь не утих, вокруг не было ни души, к тому же начинало темнеть. Я решил отступить. Выйдя из сарая, я направился к дороге, продолжая спокойно говорить со странным существом.

— Кто забрал твою невесту? Из-за этого тебе так плохо? Скажи мне, что за беда с тобой приключилась?

Он шел прямо на меня. Думаю, шел без злого умысла, и все же его огромная, неуклюжая фигура выглядела угрожающе. И тут он проревел, хоть и сбиваясь, но вполне разборчиво:

— Франкенштейн!

На этот раз сомнений в обуревавшем его гневе у меня не возникло.

Должен признаться, что в этот момент мои нервы не выдержали. Я развернулся и побежал по причалу, потом, спотыкаясь на скользких ступеньках, вылетел на дорогу и, бросив взгляд назад, дабы убедиться, что он меня не преследует, скользя по снегу, который теперь образовал на земле покров где-то в дюйм толщиной, торопливо направился к дому. Пройдя немного, я опять обернулся, дабы убедиться, что великан не идет за мной. Выяснив, что меня не преследуют, я замедлил шаг и отправился к дому, промокший и замерзший, с трудом передвигая ноги.

Мое отступление вовсе не означало, что я почувствовал в этом несчастном существе реальную для себя угрозу. Великан не сделал мне ничего плохого: он лишь поначалу пошел за мной, а потом вернулся в свое логово. Его страстная непонятная речь скорее походила на

просьбу о помощи, чем на угрозу. А затем он выкрикнул имя Франкенштейна, именно выкрикнул, как мне показалось, с негодованием и болью. Что это могло означать? Голова моя гудела, но одно я знал теперь наверняка: холодно и невозмутимо отрицая свое знакомство с этим великаном, Виктор мне лгал. Человек этот не был химерой, не был плодом моего воображения. Виктор не сказал мне правды. Эта мысль особенно угнетала меня, пока я еще долгое время шел пешком до своего дома.

На Грейз-Инн-роуд я прибыл в весьма плачевном состоянии. Гилмор, открывший входную дверь, был поражен моим внешним видом, однако единственное, что я мог сказать ему в этот момент, было: «Будь бдителен, Гилмор. Никаких изменений к лучшему не произошло». Больше мне ничего не удалось сказать, ибо распахнулась выходившая в холл дверь гостиной и на пороге появилась чрезвычайно взволнованная миссис Доуни.

После этого присущие обеим дамам доброта и внимание были полностью направлены на меня. В спальне растопили камин и устроили мне ванну с паром, затем переодели меня во все чистое и усадили к огню в гостиной, заставив опустить ноги в ванночку с горчицей. Засим последовал ужин и пунш с добавлением виски, ибо миссис Фрейзер никогда не пересекала границы своих владений, не прихватив с собой несколько бутылочек, наполненных содержимым домашнего производства. Однако за этим теплым, женским вниманием и добротой стоял жесткий принцип *quid pro quo*.^[16] Взамен дамы потребовали от меня подробного пересказа истории, которую поведал мне в трактире Гилмор. Очевидно, им мало что удалось выудить у самого автора. У меня же, из-за последовавших за этой историей событий сегодняшнего дня, все окончательно смешалось, поэтому я предпочел бы вообще ничего не говорить. Жаль, что я не мог в интересах безопасности всего семейства дать команду сменить место жительства и уехать подальше от всех этих таинственных дел. Но, будучи в этом доме всего лишь постояльцем, я, конечно же, не мог отдавать приказов, а коль скоро я захотел бы воздействовать на всех с помощью убеждения, мне пришлось бы рассказать все как есть, во всех подробностях.

Поэтому, не оправдав надежд миссис Доуни и ее сестрицы и ничем их не порадовав, я сослался на усталость и рано отправился спать, не преминув, однако, по дороге тайком заглянуть в кухню к Гилмору и сообщить, что сегодня вечером ему следует очень внимательно следить за домом, а также попросить его, чтобы в одиннадцать часов он поднял меня, дабы я смог сменить его на вахте. Увидев, что парень очень встревожился, я объяснил ему, что встретил врага Виктора и что тот, возможно, невменяем, и находится он совсем недалеко от нас.

— Этот малый производит впечатление человека безобидного, но не исключено, что он бывает таким не всегда. Завтра я постараюсь составить для нас план действий, но сегодня мы должны быть начеку.

После этого я удалился к себе и прилег на кровать прямо в одежде, чтобы хоть немного отдохнуть. В одиннадцать часов Гилмор, как мы и договаривались, меня разбудил, и, когда все в доме отправились почивать, я спустился вниз. Из окна моей комнаты было видно, что все деревья, сад за домом и грядки для овощей побелели от снега. Темнели смутные очертания домов, в большинстве из которых окна уже погасли. Колченогие трубы все еще выпускали дымок в ночное небо. На всем обозримом пространстве, в каком направлении ни посмотри, не было видно ни единого следа, нарушавшего эту снежную белизну. С улицы не доносилось ни шума транспорта, ни голосов людей; снег, казалось, накрыл всю землю огромным одеялом белого безмолвия.

Я сидел у камина, в гостиной на первом этаже, и прислушивался. Время от времени я поднимался и подходил к окнам, выходящим и на улицу, и во двор, чтобы посмотреть, не ходит ли кто-нибудь вокруг дома. Находясь в одиночестве среди этой внезапно спустившейся на город снежной тишины, я раздумывал о том, обоснована ли моя тревога. Не фантазия ли все это, порожденная моим разыгравшимся воображением?

«А если предположить, — подумал я, — что кому-то просто понадобилось запятнать репутацию Виктора? Рассмотрев дело под таким углом, можно было бы заключить, что я сошел с ума: ведь никто, кроме меня, не видел человека, угрожавшего Виктору Франкенштейну. Что же касается Гилмора, любой суд мог бы запросто сбросить со счетов ничем не подтвержденный рассказ свидетеля о событиях, происходивших в те времена, когда этот свидетель был еще мальчиком. Либо Виктор Франкенштейн, мой друг, меня обманывал, либо заблуждался я сам, болезненно и искаженно воспринимая многие вещи. И все же эти столь неприятные мысли не смогли взять верх над моей усталостью и теплом очага. Как бы стыдно мне ни было, не могу скрыть тот факт, что в ту ночь я заснул во время своего дежурства.

Увы! Раскинув во сне руки, я случайно сбросил какую-то безделушку с журнального столика. Я слышал, как она упала, но продолжал спать. Однако не такой была миссис Доуни: женщина до мозга костей, она услышала бы даже падение иголки. Меня разбудил возглас, раздавшийся у открытой двери в гостиную:

— Мистер Гуделл! Что это вы здесь делаете? Почему вы не спите?

Помню, сквозь сон я подумал, что миссис Доуни с шалью, накинутой поверх ночной сорочки, и со свечей в руке являет собой прелестное зрелище. Дама же обвела взглядом комнату, подняла с пола упавшую безделушку (к счастью, не разбившуюся) и стала снова внимательно осматривать помещение, ища, как мне показалось, бутылки из-под вина, в котором, как она, вероятно, подумала, и заключалась причина моего пребывания в гостиной в столь поздний час. Видимо (и к этому выводу я пришел еще раньше), покойный мистер Доуни был человеком невоздержанным. Зевая и потирая глаза, я сказал ей, что нес ночную вахту, охраняя дом от беды, и нес ее, как она могла заметить, достаточно безответственно, хотя и сам возложил на себя эту обязанность.

Тогда она с горячностью заговорила, что не может долее выносить такого положения вещей. Кругом одни только тайны и секреты, и она прекрасно видит, что я не объясняю ей своих подозрений. Мне не следует воображать, будто она не заметила чрезмерную бдительность Гилмора и не поняла, что вызвана она моими наставлениями. Миссис Доуни сетовала, что ей так и не рассказали, почему это Гилмор, находящийся у ее сестры в услужении, сбежал из дома, увидев мистера Франкенштейна, — не рассказали, несмотря на то, что мне давно известна его история. А теперь еще появилась какая-то угроза...

— Я повторяю, — заявила она, — что не могу более выносить всю эту секретность. Разве я не имею права знать, что происходит? Спокойствию моей сестры, меня самой и моего беззащитного ребенка угрожает какая-то тайная сила, так почему же я не могу о ней узнать? А если вы, — заключила она, — считаете, будто правила хорошего тона требуют, чтобы от меня держали в секрете вещи, касающиеся меня и моей семьи, то я смею вас заверить, что здесь вы ошибаетесь. Это не хороший тон, а самая настоящая глупость!

Мне, как и многим мужчинам, не очень-то нравилось, проснувшись, выслушивать, как тебя бранит женщина. По этой причине я немного разозлился.

— Ради всего святого, Корделия! Я делаю все, что в моих силах! — воскликнул я.

Нужно заметить, что я впервые назвал свою хозяйку по имени, и сам был очень удивлен, как это имя нечаянно, само собой сорвалось с моих губ. Она сама этот факт никак не прокомментировала, а только мягко проговорила:

— Разве не будет лучше, если вы мне расскажете все по порядку?

Я вздохнул и откинулся на спинку кресла, почувствовав вдруг себя ужасно усталым.

— Но сейчас уже очень поздно, Корделия.

— Как раз для вас это не имеет никакого значения: вы все равно стоите на часах, — бойко заметила она. — Я приготовлю чай и принесу хлеб с маслом. Пусть это будет ранний завтрак — он восстановит ваши силы.

И она тут же принялась за дело: разожгла вновь камин, повесила над ним на крючке медный чайник, достала буханку, приготовленную на завтрак, и, порезав на кусочки, сделала тосты. Я же тем временем, борясь со сном, размышлял, рассказать ли ей всю известную мне историю или только часть ее. А что, если я ошибаюсь? Имею ли я право выдавать свои предположения за правду, которая к тому же может испугать женщину? Но как бы ни боролся я с собой, мне было не устоять перед очарованием миссис Доуни, орудовавшей сейчас вилкой для тостеров. Она повернулась ко мне спиной, и ее волнистые волосы рассыпались по плечам. Она так прекрасно выглядела, что будь на моем месте даже монах-траппист,^[17] и тот от одного ее вида запел бы веселую песенку. «А если б она и вправду являлась моей сестрой, — спросил я себя, — хоть и вдовой с маленьким ребенком, имел бы я право знать что-то важное и не говорить ей, а значит, право решать ее собственные дела без ее участия?»

И вот я, предупредив ее о том, что эта история крайне неприятна и страшна и что ей самой предстоит решать, многому ли в этой истории можно верить, я рассказал ей все без утайки, или почти все. В течение моего рассказа, который занял около получаса, она сидела, не говоря ни слова, и спокойно смотрела на меня, лишь изредка вставая, чтобы подлить мне чая или сделать тосты. Я вдруг набросился на еду и никак не мог насытиться. Ее спокойствие меня изумляло. Иногда мне начинало казаться, что она просто не понимает, о чем я ей говорю, но она понимала все, и понимала прекрасно. Я заключил свой рассказ обращенной к ней просьбой высказать свое суждение:

— Миссис Доуни... Корделия... скажи мне, ты полагаешь, что я заблуждаюсь, что я напрасно обвиняю во всем своего друга Виктора Франкенштейна?

Она ответила печально и серьезно:

— Мне кажется, что ты не во всем разобрался, Джона тан. — Она впервые назвала меня по имени, и я это заметил. — За всем этим стоит какая-то тайна. Однако я не сомневаюсь, что многое из того, что ты говорил, верно. Видишь ли, я знаю Дональда Гилмора с тех самых пор, как он впервые мальчишкой переступил порог дома моей сестры. Его рассказ о мистере Франкенштейне, вероятно, не со всем точен, однако он не может быть чистой выдумкой, как пытался это представить сам мистер Франкенштейн.

— Корделия, — проговорил я (и оттого, что я произношу ее имя и она называет меня по имени, я почувствовал неизъяснимую радость). — От твоих слов мне стало легче на душе. А я уже боялся, что схожу с ума.

— Не это меня беспокоит, — сказала она задумчиво. — Мне кажется, что опасность для тебя представляет мистер Франкенштейн. Так же, как и эта певица, Мария Клементи, а возможно, и ее компаньонка.

Полагаю, я уже отмечал, что Корделия (как я буду теперь ее называть) была несколько

несправедлива к Марии, которую сама она никогда не встречала. Вероятно, причиной тому являлась ревность, а также отчасти тот факт, что женщины из общества привыкли относиться с недоверием к актрисам.

— Мисс Клементи — самое чистое и невинное создание, какое только можно представить. И ты сама бы это поняла, если б когда-нибудь ее встретила, — заметил я.

— И это создание ты в последний раз видел в экипаже, когда оно заливалось смехом, слушая человека, которому ты сам же дал не очень-то лестную характеристику...

Я вздохнул.

— Да, я не отрицаю. Для меня это загадка. А ведь сей час Хьюго с Люси Фелтхэм находятся на Чейни-Уолк, и трудно представить, что еще там может произойти. Теперь же я и тебя втянул в это дело! Как же мне быть?

— Умывай руки и выходи из игры, — сказала она.

— Но я боюсь, что и ты, и все твои домашние подвергаются опасности. Как могу я закрыть на все глаза и притвориться, что ничего не происходит?

— Тогда отправляйся утром к члену городского маги страта мистеру Уортли и скажи ему, что у тебя есть основания считать, что человек, убивший миссис Франкенштейн, находится на причале в Челси. Потребуй, чтобы его взяли под стражу и допросили, — посоветовала мне моя дама, явно демонстрируя, что она прошла хорошую школу у своего бывшего мужа-юриста.

— Дорогая моя Корделия, — сказал я, беря ее за руку. — Ты самая прекрасная из всех женщин, которых я когда-либо встречал.

Она выхватила руку.

— Бог мой, Джонатан! — воскликнула она. — Что-то ты слишком осмелел! Не следовало мне сидеть здесь с то бой в столь поздний час, да еще и в таком одеянии.

С этими словами она выпорхнула из комнаты, и я услышал ее поднимающиеся по лестнице шаги. Хоть она меня и оборвала, но все ж опять назвала по имени. А потому нельзя было сказать, что она поступила со мной слишком строго.

Находясь вне себя от радости, я так бы и сидел и размышлял с восторгом о том, какой прекрасной будет наша жизнь, но я не имел права забывать о своей патрульной службе и должен был продолжать нести вахту. До самого утра не обнаружено было никаких признаков постороннего присутствия ни внутри дома, ни снаружи. Я решил последовать совету Корделии: выложить властям всю информацию, которой располагаю, о том мужчине на причале. Отправлюсь в магистрат прямо с утра, как можно раньше. Может, при допросе власти смогут выяснить у великана какие-нибудь подробности о нападении на дом Виктора. Как бы там ни было, оказавшись в тюрьме, чудовище не причинит больше никому вреда.

А ведь это моя дорогая Корделия, это она так здраво обо всем рассудила и предложила такой разумный выход! И я начал мечтать о будущем, когда мы с ней будем вместе, если только она согласится выйти за меня. Тут я стал представлять ее в Кеттеринге хозяйкой дома, ласковой подругой моих сестер, утешением моему отцу на склоне лет. Согласится ли она стать моей? Любая практичная женщина на ее месте не стала бы колебаться. Но Корделия не была практичной. Она делала только то, что подсказывало ей сердце...

Усталый, я отправился спать в шесть утра, когда меня сменил верный Гилмор. Я подумал о Корделии, но стоило голове моей дотронуться до подушки, как я сразу же заснул.

Однако снилась мне не Корделия. Вместо нее мне приснился тот ужасный человек, которого я недавно преследовал. В моем сне он был с голой грудью и босой. Человек этот

находился на каком-то тропическом острове под палящим солнцем. Он стоял на желтом песке и смотрел вдаль, на синее море. Я видел его бесформенную фигуру, несчастное лицо, горящие глаза и шапку густых спутанных черных волос. Я ощущал, как надрывно стучит в его груди сердце, чувствовал каждое порывистое движение его мысли, его способность поддаваться внезапному эмоциональному порыву, направленному как на добро, так и на зло. И вдруг он изменился. Лицо его смягчилось и обрело правильные черты; его большие черные глаза перестали гореть, как уголья, и засветились нежным светом. Он улыбнулся. И вдруг откуда-то из-за окружавших бухту деревьев раздался голос. Это была песня. Ее исполняла Мария Клементи. Я слышал ее во сне, хотя самой певицы не было видно. Она пела какую-то старую средневековую мелодию. Мелодия была грустной, но пела она ее очень проникновенно и с большим чувством. Это была одна из тех песен, которые поют во время церковной службы в Испании или Италии. А великан стоял так, как будто не слышал ее песни, и вглядывался в морскую даль.

Звуки песни, которую исполняла Мария, все еще звучали у меня в ушах, когда Гилмор, в соответствии с моими инструкциями, разбудил меня в половине восьмого. Немногим позже я уже сидел в столовой и принимал чашку кофе из рук Корделии (которая поднялась рано и сияла, как новая монета, и сестре о наших ночных бдениях она не сказала ни слова). Я намеревался тотчас же после завтрака отправиться домой к мистеру Уортли, который жил всего в нескольких кварталах от нас. Но в этот момент зазвонил дверной звонок, и на пороге появились одетые по-походному Хьюго и Люси. Это было довольно странно для столь раннего часа, да и вчера они не говорили, что собираются уезжать. Кроме того, мало кто решился бы отправиться в Кент в такую погоду, когда все дороги завалены снегом.

Их пригласили к завтраку. Хьюго, с облегчением вздохнув, согласился и стал уговаривать жену сесть к столу и что-нибудь перекусить. Она была очень бледна, а щеки ее горели от гнева. Решительно отказавшись от завтрака, она продолжала стоять. Тогда из-за стола поднялась Корделия. Она положила руку госте на плечо и подвела ее к креслу у камина. Миссис Доули мягко поговорила с Люси, и та явно смягчилась.

Сидевшая за столом миссис Фрейзер с удивлением наблюдала за происходящим.

— Хьюго, дорогой, — спросил я, — что подняло вас в такой час?

Мой друг, с аппетитом принявшийся за завтрак, ответил:

— Я прошу прощения у миссис Доуни за столь ранний визит. Мы очень признательны вам за доброту. К сожалению, новость, которую мне придется сообщить, довольно неприятна.

— Лучше сразу рассказать, что произошло, Хьюго, — заметил я.

Он посмотрел на миссис Фрейзер, встревоженно и недоуменно поднявшую брови, и на Корделию, стоявшую рядом с его женой.

— Как я понимаю, на Чейни-Уолктворится что-то не ладное, — проговорила Корделия.

При этих ее словах брови миссис Фрейзер поднялись еще выше. Люси повернулась к ней и сказала:

— Мы покинули этот дом.

— Спешно покинули, как я понимаю, — заметил я.

Люси вновь поднялась и встала у камина. Глаза ее блестели, и все тело ее напряглось от негодования. Не разделяя сомнений Хьюго, который не мог решить, какие вопросы можно, а какие нельзя обсуждать в присутствии дам, она страстно воскликнула:

— Эта женщина... эта актриса... Клементи... явилась вчера в полночь! Ты прав был,

Джонатан, когда обвинял Виктора в том, что он продолжает за ней ухаживать вместо того, чтобы скорбеть о смерти жены! Но уж о чем никто из нас не мог подумать... О, какой позор! Как все это омерзительно! Элизабет... еще свежа ее могила! Я сказала Хьюго, что больше не могу там оставаться...

И Корделия опять осторожно усадила ее в кресло и постаралась успокоить.

Когда Люси затихла, Хьюго продолжил рассказывать.

— Позвольте мне объяснить, почему мы не могли долее оставаться на Чейни-Уолк. Эта женщина, Клементи, приехала, как и сказала Люси, вчера ночью в экипаже, прямо со сцены, в своем золотом платье, с раскрашенным лицом, прямо как... в общем, я не буду произносить здесь этого слова... Мы с Люси удалились в свою комнату, но вскоре вышли, потому что зазвонил звонок... Поскольку было уже очень поздно, меня встревожил этот визит. Пойми, Джонатан, после всего, что ты перед этим рассказывал... Она влетела в этом своем наряде и, разрыдавшись, упала в холле. Виктор, появившийся из кабинета, как будто обезумел. Он схватил ее в объятия и стал говорить (сама-то она, конечно, ничего не могла сказать), что за ней постоянно следит какой-то грубый, страшный человек и что он пугает ее и угрожает убийством. Виктор клялся, что обрушит гром и молнии на голову этого предполагаемого преследователя, в результате чего она вцепилась в него, так и не дав ни подтверждения, ни отрицания его словам, объяснявшим причину ее появления в доме. Тогда там же, в холле, прямо на глазах у меня и у Люси, он обнял ее, и она тоже обвила его руками, заявил, что любит ее, и поклялся жениться на ней. И все это время она не отпускала Виктора. Повернув к нему свое раскрашенное лицо и прижавшись к нему всем телом, она выслушивала его уговоры. Мы же стояли там, смотрели на все это и не знали, как нам себя вести. Не обращая на нас внимания, он ласково увлек ее в свой кабинет и закрыл дверь. Мы лишь слышали, как он повернул ключ в замке.

— Он захлопнул дверь прямо у нас перед носом, не сказав ни слова! — воскликнула Люси. — Мы бы уехали сразу, да только было уже слишком поздно, холодно и темно. Нам пришлось там ночевать! Но рано утром мы поднялись, упаковали вещи и уехали. Ни Виктора, ни эту женщину мы больше не видели.

— Когда мы уходили, дверь кабинета была открыта, — сообщил Хьюго. — Там никого не было. Я подумал, что мы не можем вот так уехать из Лондона, не зайдя к тебе и не рассказав о положении дел. Вчера твой спор с Виктором меня очень встревожил и удивил. Но после всего, что я увидел, я непрестанно задаю себе вопрос: что же мне теперь думать о Викторе Франкенштейне? Да и что все мы теперь должны думать о нем? Я очень сожалею, миссис Доуни, что принес столь неприятные известия в ваш дом.

— Хорошо, что вы ушли из этого ужасного места, — сказала Корделия. — Джонатан как раз собирался сообщить властям все, что ему известно о том уродливом человеке, которого он видел вчера. Вы еще не знаете, что, уйдя от вас, он увидел, как тот перелезал через забор у дома мистера Франкенштейна. Джонатан храбро последовал за ним прямо в его логово и стал его там расспрашивать.

— Да, я бы на такое не отважился, — сказал Хьюго. — И что же он рассказал?

— Бедняга слаб на голову, и его трудно понять, — сказал я. — Однако он знает имя Франкенштейна, и у меня сложилось впечатление, что тот чем-то сильно его обидел. Как и ты, я не знаю, что обо всем этом думать.

Пока я говорил, раздался еще один звонок в дверь, и миссис Фрейзер, которая на протяжении всего разговора сидела и с изумлением нас слушала, вскочила на ноги и

бросилась сама открывать дверь, несомненно, предвидя новые неожиданности, которые действительно не заставили себя долго ждать, ибо ее почти что затолкнула обратно в комнату решительная миссис Джакоби, как торнадо влетевшая в дверь. За ней следовал Габриэль Мортимер, на этот раз расфуфыренный менее обыкновенного и довольно мрачный.

— Мария... вы ее видели? — потребовала у меня отчета миссис Джакоби.

— Что? — поднимаясь, вскричала Корделия. — Кто вы такая? Почему вы сюда пожаловали?

— Это миссис Джакоби, компаньонка мисс Клементи, и мистер Мортимер, ее импресарио, — объяснил я. — Мистер Мортимер, миссис Джакоби, эта леди по праву спрашивает вас, почему вы явились сюда без приглашения, да еще в такой час. Уж не думаете ли вы, что я прячу мисс Клементи у себя под кроватью?

Должен сознаться, что в этот момент я больше думал о том, как бы рассеять все подозрения Корделии насчет того, что я и впрямь скрываю певицу у себя.

Миссис Джакоби ответила на мой вопрос очень взволнованно:

— Конечно же, я не думала, что она может быть здесь. Но я полагала, что она может быть у Франкенштейна. Он же ваш друг!

— И что ж из того, миссис Джакоби? — спросила Корделия.

— Разыскиваемая вами дама, скорее всего, у Франкенштейна. По крайней мере, была там вчера вечером, — вмешался Хьюго.

— Ну вот, — раздосадованно сказала миссис Джакоби. — Именно так я и думала. Я же тебе говорила, Габриэль. — Она обернулась ко мне: — Вы не могли бы сходить к нему? — спросила она. — Попросите его отпустить Марию.

Однако Хьюго на это заметил:

— Она пришла туда по доброй воле. Мы с женой не вольно оказались свидетелями этой сцены. Она появилась вчера ночью, в том же платье, в каком выступала только что на сцене. Была очень возбуждена и, как нам показалось, просила пристанища. Которое, — грустно добавил он, — и было ей предоставлено.

— Ну и злодей! — воскликнул Мортимер. — Что ему от нее нужно?

— А что вам от нее нужно? — раздался чистый голосок Корделии Доуни. — Что вы все, собственно говоря, от нее хотите?

За этим последовала тишина, которую нарушила только миссис Джакоби.

— Сдается мне, вы женщина достойная и здравомыслящая. Мне очень стыдно за наше вторжение, но внезапное исчезновение Марии нас так расстроило. Извините, что мы с мистером Мортимером ворвались сюда в столь ранний час.

— Благодарю за лестные слова в мой адрес и принимаю ваши извинения, — сказала миссис Доуни. — Но они ни сколько не объясняют вашего здесь присутствия.

— Никто, скажу я вам, не знает Марию Клементи так, как я! — страстно воскликнула миссис Джакоби. — Это самое злобное, самое аморальное существо, которое когда-либо ступало на эту землю. Пойдем, Габриэль. Мы напрасно сюда пришли. Мария ушла к Франкенштейну. Разве я не говорила тебе, что ее никто не похищал? Мистер Гуделл не может нам ничем помочь. Мы должны ехать на Чейни-Уолк и сами все уладить.

Поспешно извинившись за непрошенное вторжение, пара эта удалилась так же поспешно, как и вошла, оставив Хьюго и Люси, Корделию и миссис Фрейзер, обратившими взгляды друг на друга, в полнейшем недоумении.

— Здесь мы ничего не можем поделать, — решительно заявил Хьюго. — Женщина эта приехала к Франкенштейну, тот ее принял. Так что же теперь об этом говорить? Люси, нам пора ехать. Миссис Доуни, боюсь, сегодняшний день у вас начался не очень-то весело. Я чрезвычайно благодарен вам за гостеприимство.

— Нет уж, моя дорогая! — сказала Корделия, обращаясь к Люси Фелтхэм. — Может, мистер Фелтхэм и собрался увезти вас голодной из дома, в котором у вас есть возможность спокойно позавтракать и привести себя в порядок, только я этого не допущу. Вы должны съесть яйцо и выпить чего-нибудь погорячее. И поверьте, немного горячей воды в ванной и одеколон подействуют на вас успокаивающе. И пока вы будете всем этим заниматься, моя служанка приготовит вам еду в дорогу, а наши джентльмены смогут сходить к члену городского магистрата и изложить ему обстоятельства дела относительно того слабоумного человека. — И конечно же, она не могла не добавить, исключительно для меня: — А что касается этой мисс Клементи, так вы только что все о ней слышали от ее собственной компаньонки — оплачиваемой компаньонки, заметьте.

В итоге нас, мужчин, выпроводили из дома, чтобы мы не мешали дамам собираться в дорогу. Миссис Фрейзер — что вполне естественно — изнывала от любопытства и тщетно пыталась понять, что же могли означать события сегодняшнего утра. По дороге к дому мистера Уортли Хьюго заявил:

— Эта ваша миссис Доуни — женщина с характером. — С ней не пропадешь...

Однако я на это ничего не ответил.

У мистера Уортли я сделал заявление о том, что имею основания подозревать, будто человек, проживающий на причале в Челси, располагает информацией, касающейся обстоятельств смерти миссис Франкенштейн и ее ребенка, и может оказаться соучастником преступления. Хьюго подтвердил мое заявление, и Уортли направил людей для задержания подозреваемого. Позже я узнал, что тот еще ночью ушел из своего логова в неизвестном направлении. Когда его сослуживцы пришли утром на работу, они не обнаружили на месте ни самого великана, ни его скудных пожитков.

Но как же счастлив я был всю следующую неделю! Как хорошо мне было безо всех этих мрачных мыслей, тайн, ужасов и сомнений! И хотя в это мало кто может поверить, но я честно признаюсь вам: те нежные чувства, которые питал я к Корделии, позволили мне отбросить все мрачные мысли, тем более что и у самой Корделии нежные чувства ко мне разрастались с каждым днем. Такое время выпадает на нашу долю нечасто, а потому оно нам особенно дорого.

А поскольку я теперь был признан поклонником, Корделия, хоть она и выросла в семье со свободными взглядами, считала невозможным жить вдвоем в доме с человеком, который вскоре должен стать ее мужем. Либо мне следовало переехать, либо с нами должна оставаться миссис Фрейзер. И так как у последней не было особо серьезных причин немедленно возвращаться домой, она решила остаться. Нет ничего удивительного в том, что, будучи влюблен, причем взаимно, я был настолько счастлив, что смог запросто выбросить из головы все мрачное и неприятное. Мы говорили о наших планах, о поездке ко мне домой в Ноттингем. Я начал уже забывать страшные и запутанные обстоятельства дела Виктора Франкенштейна (со стороны которого в течение всего этого периода не было никаких вестей, а также заверений в том, что наши дружеские отношения по-прежнему в силе). Вспоминая иногда об этом деле, я уверял себя, что оно закончилось. Увы! Этому не суждено было случиться. Ужасные новости не заставили себя долго ждать...

Стоял февраль. Однажды утром к нашему дому подъехал член городского магистрата мистер Уортли, прервав мою работу над словарем, и сообщил кошмарную новость.

По его словам, Виктор Франкенштейн лежит сейчас в крайне тяжелом состоянии, он находится на грани между жизнью и смертью. Ранним утром, за день до этого, его нашли в его собственной гостиной с открытой колотой раной, нанесенной, казалось, человеком невменяемым. В той самой длинной, мрачной комнате, из окна которой я когда-то увидел наблюдавшего за домом человека. Окно комнаты было разбито точно так же, как в ночь убийства Элизабет Франкенштейн. Однако на этот раз на лужайке, на свежем снегу, остались четкие, огромные и несколько необычные следы ног, говорившие о присутствии здесь хромавшего человека невероятно большого роста.

Уортли добавил еще один страшный факт: следы, свидетельствовавшие о пребывании человека, остались и в домике садовника. Внутри домика обнаружили сваленную в кучу одежду, которая взята была из дома Виктора, — что-то типа спального места. Там же находилось и изодранное в лохмотья черное пальто. Кругом валялись засохшие остатки пищи, стояла даже тарелка, которую вынесли из дома Виктора. Ясно, что кто-то жил в этой избушке и выносил все необходимое из жилища Франкенштейна. Мистер Уортли не сомневался, что именно этот человек пролез в дом и едва не убил Виктора. Не сомневался он и в том, что этот сумасшедший и являлся тем самым чудовищем, о котором я ему когда-то сообщил.

— Пока мои люди разыскивали этого преступника, — с горечью заметил Уортли, — он был в таком месте, в котором никому бы и в голову не пришло его искать, — в непосредственной близости от своей жертвы. Он и не помышлял о бегстве. Совсем наоборот — расположился поближе к человеку, которого собирался убить.

Я был в ужасе от произошедшего и сказал, что хочу сейчас же пойти к Виктору.

— Тут есть еще одна вещь, — сказал Уортли, испытывая некоторую неловкость. — Когда слуги подняли тревогу и обнаружили вашего друга в луже крови, с ним оказалась дама — та самая немая леди. Она не выпускала его из своих объятий. Наверное, она до сих пор там.

Я представил себе эту ужасную картину. Виктор, смертельно раненный, лежит в этой мрачной гостиной на Чейни-Уолк, под разбитым окном; следы его убийцы четко видны на заснеженной, белой лужайке; и Мария, не способная вымолвить ни слова и позвать на помощь, не отходит от Виктора, который каждую минуту может умереть.

Уортли продолжал:

— Как жаль, что она не может ничего сказать. Ведь когда мы возьмем того, кто напал на миссис Франкенштейн (и кто вполне может оказаться убийцей мистера Франкенштейна, ибо последний сейчас находится между жизнью и смертью), нам обязательно потребуется свидетель. Но эта женщина не имеет возможности рассказать нам, что произошло. Вы ее знаете? Можно ли как-то сделать, чтобы она заговорила?

Я ответил, что, насколько мне известно, это невозможно.

Затем я отправился к Виктору в сопровождении Корделии, которая заявила, что готова помогать, чем только сможет.

Когда лошади, цокая копытами, вывезли нас по обледеневшей дороге на Чейни-Уолк, было холодно, но ясно. Крепко схваченная льдом Темза блестела на солнце. Судно со

свернутыми парусами оказалось запертым во льду посреди канала; вокруг него с криками катались мальчишки. На причале, где недавно обитал и работал убийца, напавший на Виктора, рабочие разожгли большой костер из прибитых к берегу деревяшек и стояли вокруг него, греясь. Теперь работы у них не предвиделось до тех пор, пока река не освободится ото льда.

Дворецкий Виктора с выражением чрезвычайной озабоченности и беспокойства на лице открыл нам дверь и сказал, что проводит нас в комнату Виктора. В доме было холодно, и дворецкий, извиняясь за это, объяснил, что вся прислуга, и мужчины, и женщины, в страхе разбежались. Мы стали подниматься по огромной, холодной лестнице в спальню Виктора. Поднявшись, я оглянулся назад, на большую, безжизненную гостиную, и увидел там двоих мужчин крепкого телосложения, играющих в карты. Их, несомненно, наняли, чтобы защитить дом Виктора от возможного нападения. Однако когда я высказался по этому поводу, дворецкий, покачивая головой, заметил:

— Лучше бы они были здесь прошлой ночью. Хороша ложка к обеду. Увы! Доктор считает, что дни мистера Франкенштейна сочтены.

Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, мы с удивлением увидели, что там сидит, укутавшись в накидку, миссис Джакоби. При нашем с Корделией приближении она поднялась с места. Лицо ее осунулось, она выглядела лет на десять старше. Она заговорила со мной таким тоном, словно речь шла о деле, не терпящем отлагательств.

— Мистер Гуделл, Мария там, в комнате, с мистером Франкенштейном. Но мне необходимо поговорить лично с вами, наедине.

— Да-да, конечно, — сказал я, — но вначале я хочу зайти к Виктору.

Я уже взялся за ручку двери, но миссис Джакоби схватила меня за руку.

— Сделайте так, чтоб она ушла из его комнаты, — настаивала женщина. — Мистер Гуделл, заставьте ее уйти оттуда.

Я зашел в огромную комнату с большим, пышущим жаром камином. Виктор лежал на кровати, лицо его было обращено в противоположную от меня сторону. Он смотрел на Марию, сидевшую напротив него. Сзади на затылке все волосы у него были сбриты, чтобы ничто не попадало в раны. Вид двух огромных порезов в форме креста, зашитых черными стежками, был ужасен. Обе его руки, перебинтованные, лежали на покрывале. Мистер Уортли сказал, что в качестве оружия преступник использовал большой нож из тех, которые используют мясники при разделки туш. Ему было нанесено, по словам Уортли, тридцать ножевых ранений, но наиболее серьезными из всех оказались, по-видимому, те, которые сейчас не были видны: в грудь и в живот.

Мария сидела в кресле у окна, одетая в милое серое платье с кружевной накидкой на плечах. Ее темные локоны были подобраны кверху. Когда я приблизился к кровати, молодая женщина улыбнулась. Она держала Виктора за руку.

Я проговорил:

— Виктор... Виктор... Я так удручен, что вижу тебя в столь тяжелом состоянии. Что я могу для тебя сделать?

В этот момент Мария легким взмахом руки постаралась привлечь мое внимание. С горестной улыбкой она указала сначала на Виктора, а потом на свой рот и покачала головой. Сначала я не придавал ее жестам значения, но она разыграла ту же самую пантомиму во второй раз. И тут я понял, что она хотела мне объяснить.

— Он не может говорить? — спросил я. Она вновь покачала головой.

Я обошел кровать и зашел с той стороны, где она сидела, дабы показать Виктору, что я здесь, и, если возможно, как-то с ним объясниться. Я посмотрел на его посеревшее, исхудалое лицо и был потрясен тем, что увидел.

Мария держала его руку в своих ладонях. Глаза его устремлены были на ее лицо, но в них застыло выражение настоящего ужаса. Он смотрел на это милое личико так, как может смотреть человек в самую бездну ада. Мария же продолжала нежно ему улыбаться, а затем грациозно склонилась и поцеловала его в лоб. Струйка дыма, поднявшаяся от не прогоревших в камине дров, взвилась в воздух. В какой-то миг я, словно находясь в туманном сне, увидел, как этот дым, закружившись над Марией, накрыл и распростертую фигуру Франкенштейна.

Я вспомнил о настойчивой просьбе миссис Джакоби выпроводить молодую женщину из комнаты больного. Тогда я опустился на колени рядом с кроватью (из-за чего Марии волея-неволей пришлось выпустить руку Виктора) и, придвинувшись лицом к его лицу, проговорил:

— Друг мой, дорогой мой дружище... Ты чего-то боишься? Скажи мне чего именно ты боишься?

Его глаза, выражавшие страх, остановились на моих, и в то же время я прочел в его взгляде мольбу. Я посмотрел на Марию. Она покачала головой, заулыбалась и тем самым дала понять, будто все увиденное мною не следует принимать всерьез. Я заглянул ей прямо в глаза, красивые, но ничего не выражающие, и почувствовал, что они засасывают меня в свой омут. Я с трудом оторвал взгляд от Марии и снова посмотрел на испуганное лицо друга.

— Виктор! — воскликнул я. — Можешь ты мне сказать, наконец, что тебя так беспокоит?

Но он ничего не мог ответить, хотя глаза его, казалось, молили меня о чем-то. Затем его испуганный, совсем как у провинившегося ребенка, взгляд, словно подчиняясь чьему-то приказу, вновь обратился на Марию.

— Мисс Клементи, — сказал я. — Я знаю, что вы хотите как лучше, однако сдается мне, что ваше присутствие в комнате больного для него несколько обременительно. Не лучше ли будет, если вы прервете этот визит и посетите его позднее?

Она улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Острая ответная эмоция, постыдная при данных обстоятельствах, пронзила меня насквозь. Я подумал, что сошел с ума. Должно быть, так оно и было. Затем певица перевела сочувствующий взгляд на раненого, чьи руки она опять держала в своих ладонях, и лицо его от этого, казалось, еще более посерело, еще сильнее осунулось. Это вынудило меня вновь повторить:

— Я действительно считаю, что ваше присутствие вызывает у больного излишнее волнение. Виктор находится в таком состоянии, что ему лучше было бы предоставить покой, в противном случае выздоровление его будет продвигаться медленнее.

«Если он вообще когда-либо поправится», — подумал я про себя, а вслух добавил:

— Почему бы вам не оставить его прямо сейчас? Завтра придете опять. Может, он к тому времени почувствует себя немного лучше.

Но Мария только улыбалась и качала головой, но не выпускала руки испуганного больного. Выходить она не собиралась.

Я резко вышел из комнаты и застал миссис Джакоби за мирной беседой с Корделией, как будто и не было того неприятного «обмена любезностями», произошедшего утром на Грейз-Инн-роуд.

— Миссис Джакоби! — воскликнул я. — Она заигрывает с ним, даже когда он на краю гибели, а в его глазах застыл страх! Он боится ее. Он взглядом умоляет меня удалить ее из комнаты, но она не поддается. Он испытывает необъяснимый страх в ее присутствии. Нужно заставить ее уйти!

— Поэтому-то я и просила вас выдворить ее из комнаты, — сказала миссис Джакоби. — После того как на него было совершено нападение, она не выходит от него ни на минуту. И длится это уже около полутора суток.

— А нельзя ли поговорить с доктором? — спросила Корделия. — Пусть он велит ей уйти и назначит мистеру Франкенштейну профессиональную сиделку, которая бы могла за ним все время ухаживать. Разве можно потворствовать чьим-то капризам, когда человек в столь тяжёлом состоянии?

— Капризам? Это не просто капризы! — мрачно заключила миссис Джакоби. — Я вчера сказала об этом доктору, но и его обвели вокруг пальца. И он, ясное дело, не устоял при виде ее милого личика. Мистер Гуделл, доктор придет через час. Вы сможете с ним поговорить?

— Конечно! — ответил я. — Может, нужно пригласить родителей Виктора — ведь он в таком тяжёлом состоянии.

— Миссис Джакоби сказала мне, что он не хочет их беспокоить, — объяснила Корделия.

— А нужно ли в такой ситуации с ним соглашаться? Я в этом не уверен. Он в очень тяжёлом состоянии, и не исключено, что он подвергается давлению со стороны. А вот в том, что родители его захотят приехать, я не сомневаюсь.

— Одно я знаю наверняка, — отметила миссис Джакоби. — Марию необходимо удалить из комнаты больного.

Я почувствовал, что у меня едва ли достанет сил еще раз войти в это помещение и вновь посмотреть на серое, исхудавшее лицо друга, взглянуть в его испуганные глаза, отчаянно взывающие о помощи. И все-таки я заставил себя это сделать. Пройдя через всю комнату, я подошел к тому месту, где сидела Мария, по-прежнему сжимавшая руку Виктора в своей. Я заверил друга, что побеседую с доктором, как только тот придет, и уговорю его назначить больному сиделку, которая не отойдет от него ни на шаг. После того как я это сообщил, по выражению его лица можно было заключить, что он испытал некоторое облегчение. Бросив взгляд на Марию, я увидел, что она продолжает улыбаться, как и раньше. Была ли в ее глазах жестокость, или мне это только показалось?

После того как я вышел из комнаты, Корделия взяла меня за руку и сказала:

— Миссис Джакоби должна с тобой поговорить.

Я последовал за дамами вниз, в ту длинную, холодную гостиную с люстрами в чехлах и приглушенным освещением. На камине, в котором яростно пылал огонь, стояли две зажженные свечи. При нашем появлении двое охранников, демонстрируя свою бдительность, сразу же вскочили на ноги. Мы отошли подальше к окну и заговорили на пониженных тонах, стоя, возможно, на том самом месте, где после нападения лежал израненный Виктор.

Снег за окном все еще лежал на траве и на ветвях деревьев. Земля теперь была покрыта замерзшими следами служителей порядка, которые пытались отыскать напавшего на Франкенштейна человека. «А не случилось ли так, — подумал я, — что преступник, когда все эти люди разошлись, вернулся вновь? Не стоит ли он там опять, прижавшись к черному

стволу дерева?»

И тут миссис Джакоби схватила меня за руку. Я почувствовал (и этому не помешала ткань моей куртки), как сильно сжались ее пальцы. Она горячо заговорила:

— Я больше не могу об этом молчать. Вы должны знать правду. Я обязана вам все рассказать о Марии Клементи.

12

На лице миссис Джакоби застыло выражение крайнего напряжения.

— Вы должны сейчас выслушать то, что я хочу вам сказать, — начала она, — так как завтра я уйду от мисс Клементи. Мне уж давно следовало бы это сделать. И по чему я продолжала жить с ней — одному богу известно. Однако совесть моя вновь и вновь мне подсказывает, что я должна от нее уйти. Почему же все-таки я оставалась с ней? Из-за денег, должна я признаться. Она мне хорошо платила. И еще из-за тщеславия. Я полагала, что будет больше пользы, чем вреда, если я останусь с ней. Я даже думала (тщетные надежды!), что сумею изменить ее, смогу со временем сделать из нее разумное существо, человека с душой и сердцем. Но теперь я должна рассказать вам о ней все.

— Очень уж вы сокрушаетесь, миссис Джакоби, — сказала Корделия. — Не поддавайтесь горячим порывам. Гнев и раздражение — плохие советчики.

Тот гнев, раздражение и неприязнь, которые испытываю я к этому омерзительному существу, — прервала ее миссис Джакоби, — возникли не под влиянием порыва. Я говорю о Марии Клементи холодно и трезво. Я провела с ней не один год. Я была свидетелем всех ее проделок. У меня не осталось к ней никаких чувств, кроме отвращения. Мария Клементи, — продолжала женщина, — существо аморальное, настолько аморальное, что это не укладывается ни в какие рамки. Она — воплощение зла. Хотя я думаю, что сама Мария этого не понимает, как не осознает она и того, что делает. Это дикарка... Даже хуже чем дикарка, ибо не раз мы читали о том, что даже у дикарей есть свои нормы социального поведения, свои законы и табу, сколь странными они бы нам ни казались. Мария невероятно жестока. Она ворует, если уверена, что ее не поймают. Она развратна, но умело это скрывает. Ее нимало не заботит, что она делает, ей важно, только чтобы об этом никто не узнал. А я... я помогала скрывать ее проделки.

— Мортимер ее любовник? — спросила миссис Доуни так спокойно, будто интересовалась ценой на рыбу.

Я считал подобное предположение невероятным. Это корыстное, бесчестное ничтожество никак не могло оказаться любовником Марии. Однако миссис Джакоби ответила:

— Да. Так оно и есть. Он является ее любовником, как и сотни других. За пять лет я побывала с ней во всех сто лицах мира, и, куда бы мы ни приезжали, у нее везде были мужчины. Их было столько, что и не перечесать. Некоторые в нее влюблялись. Бедные создания! Им оказалось хуже всего. Трудно было смотреть, как они страдали. Она даже не понимала, какую боль им причиняла. Да и как она могла что-то понять, если сама не умела ни дарить любовь, ни принимать ее от других. Собаки, мне кажется, порой испытывают друг к другу больше привязанности и лучше способны хранить верность, чем Мария Клементи. Что касается всего остального, то я не смогу пересказать вам сейчас все те ужасные вещи, которые она вытворяла и которые я, на свой грех, помогала ей скрывать. В Вене была одна

попрошайка, бедная женщина с ребенком на руках. Она останавливала Марию при входе в оперный театр и просила денег. Мария ее терпеть не могла. Началось с того, что певица отогнала ее пинком, когда та приблизилась. Но женщина была настойчивой. И как-то вечером у входа в театр Мария, будто обезумевшая, набросилась на эту нищенку, а потом на ее ребенка. Она вырвала попрошайке глаза... Все лицо женщины было залито кровью. В крови были и руки Марии. Ребенок же упал на землю... Нужно было вызывать врачей. Пришлось много заплатить, чтобы об этом молчали. А в Вене произошел еще один случай. Мария тогда решила, что директор театра отдал предпочтение другой певице, предложив той спеть партию, которую, как считала Клементи, по праву принадлежала ей одной. В результате центральное место на сцене отводилось этой певице, а не Марии. Возможно, директор был любовником той артистки и потому так к ней благоволил. Мария подсыпала извести в крем, который та певица употребляла для очистки лица. Представьте себе, какую боль это причинило той женщине и каким после стало ее лицо. Даже в Дублине — в городе, где Марию нашел ее импресарио, — мне рассказали, что она убила кого-то из своих любовников. Возможно, у нее на то имелись свои причины. Может быть, он сам напал на нее... Однако я столько раз видела, как эта женщина была близка к тому, чтобы совершить убийство, что я вовсе не уверена, будто ей нужны для этого какие-то особые основания.

— Видите ли, — продолжала миссис Джакоби, — Мария совсем не такая, как остальные люди. Она вспыльчива и мстительна. Ей неведомо раскаяние. Я старалась установить за ней контроль. Я покрывала ее проделки. Но этот случай с мистером Франкенштейном оказался последней каплей. Я знала, что она его добивается. Только зачем? Но раз она чего захочет, то своего добьется. Она в совершенстве постигла искусство старинных танцев: стоило ему сделать движение вперед — как она делала шаг назад. Но отступала она так, чтобы он всегда чувствовал: еще немного — и она будет в его объятиях. Однако когда он снова двигался в ее направлении, она с видом самым естественным и непосредственным отодвигалась вновь... И все это для того, чтобы заставить его продолжать. Она понимала, что должна действовать именно так, ибо, отдайся она раньше времени, он бы не стал ее так ценить. Она же своими маневрами цепляла его на крючок, и даже сейчас, когда не исключено, что часы его сочтены, она продолжает высасывать из него жизнь каплю за каплей. Я много натерпелась. Я отдала ей пять лет своей жизни за цену, на которую нельзя было соглашаться; она купила мою душу.

Миссис Джакоби немного помолчала, холодный зимний свет заливал ее осунувшееся лицо. Больше она не была той решительной женщиной, какой я видел ее в первый раз.

— Почему, — спросила она, — почему, соблазнив Франкенштейна, она так жаждет его мучить? Сначала я думала, будто то зло, которое живет в ней, является результатом плохого воспитания, немоты и незащитности, ее суровой жизни среди ирландских лудильщиков. Оказалось, что это не так. Да, ее ничему не учили, и она привыкла выпрашивать деньги и петь на улице. Я думала, что смогу ей помочь, что она станет лучше и душа ее согреется. Но вот прошло пять лет, а она стала еще более грубой и безжалостной, чем раньше. Этот ее отказ оставить мистера Франкенштейна отвратителен, за ним стоит что-то злое и подлое. И я не могу понять, чем он объясняется. Я не желаю больше этого выносить. Я должна устраниваться, уйти.

— Но куда же вы пойдете? — спросил я.

— Сегодня я отправлюсь к сестре в Четхэм, — ответила она. — Моя сестра вдова, она живет на небольшую пенсию. К тому же она ярая сторонница одной закрытой религиозной

секты. Представляю, как будет приставать ко мне их пастор. Он будет заставлять меня омываться кровью ягнят. Жизнь моя будет не особенно приятной, но это все же лучше, намного лучше, чем жить с Марией Клементи. Я прошу вас защитить от нее мистера Франкенштейна.

Корделия обратилась к миссис Джакоби с вопросом:

— А кто она такая? Откуда она появилась? Вам же должно быть хоть что-то известно о том, почему она стала такой, как сейчас? Что за люди были эти цыгане-лудильщики?

— Габриэль Мортимер нашел ее в доме у своих друзей, в Дублине. Они заставляли ее петь после ужина. До этого она выступала на улицах и собирала подаяние. Благодаря ее сладкому голосу и красоте у некоторых обеспеченных семей вошло в привычку приглашать ее для того, чтоб она выступала у них по вечерам. Красивая цыганка — так они ее называли. Ее взяла на поруки какая-то грязная старуха, которая контролировала все ее доходы и расходы и наверняка нещадно обирала. Женщина эта, скорее всего, была как-то связана с лудильщиками или же просто выкупила у них певицу. Как бы там ни было, о Марии никто не заботился, более того — с ней обращались крайне жестоко. Я вам уже рассказывала, мистер Гуделл, что иногда она кричала по ночам. Порой она садилась на кровати и смотрела затуманенным взором в одну точку, как будто ей привиделась какая-то сцена из прошлого. Но она не могла говорить, и из-за этого обычные отношения, которые существуют между людьми, были ей недоступны. Она, словно узник, пребывала в темнице своего безмолвия и по этой-то причине, как мне кажется, частенько жила прошлым. Ведь заключенные часто возвращаются в мыслях к образам прошлого. Потому-то я ее и жалела. Но больше жалеть ее было не за что. А наняли к ней не кого-нибудь, а именно меня по той причине, что мистер Мортимер приехал тогда на Мэррион-сквер к кому-то из родственников моего мужа, ну а я как раз гостила у них и уже привыкла к тому, что время от времени в доме появлялась Мария. Ее приводила та самая старуха, о которой я говорила. Уже тогда Мария была очень разборчивой и привередливой. Даже в тех ужасных условиях, в которых она жила, девушка умудрялась быть чистенькой, как кошечка. И пела она, конечно же, великолепно, причем не только английские или французские песни, но и старые ирландские. Никто не понимал в них ни слова, однако, слушая их, люди не могли удержаться от слез. Знаете, эта ее способность дана ей, наверное, как компенсация за немоту. Она может запомнить любую мелодию, прослушав ее всего лишь раз. Потом мы переехали к Габриэлю Мортимеру. У него были какие-то дела с моим деверем: Габриэль участвовал вместе с ним в торговых операциях в Канаде, которые закончились крахом. (Мортимер всегда был не прочь поживиться за чужой счет; деньги — вот его кумир.) Он услышал, как поет эта девушка, и решил использовать ее талант. А тут как раз и я подвернулась. Решительная, оказавшаяся в это время не у дел, я могла стать для нее самой подходящей компаньонкой и помощницей. Мортимер без промедлений устраивает Марии дебют в Лондоне и берет меня с собой. Думаю, он заплатил старухе за эту девушку — то есть попросту купил ее. Поначалу все шло хорошо. Марии было приятно жить в хорошем доме, она радовалась, что ее хорошо кормят и не бьют. Ведь у нее на теле до сих пор остались следы от страшных побоев. На одной руке — шрам от ожога: видимо, ее толкнули в огонь, когда она была еще ребенком, хотя, может, она и сама упала в костер. Мария очень быстро усвоила манеры, присущие иному социальному слою: как нужно вести себя, как одеваться, как держаться за столом, как соблюдать приличия в чужой стране. Она так быстро все уловила, что я уж подумала, а не держали ли ее изначально взаперти в каком-нибудь респектабельном семействе, стыдясь ее немоты. Уж

не украли ли ее у родителей цыгане, воспользовавшись тем, что она не могла позвать на помощь? Это вполне могло объяснить ее способность так быстро адаптироваться к иному образу жизни. Но прошло немного времени, и дремавшее в ней зло стало давать о себе знать. Она краля все, что подвернется под руку, и всегда — с изумительным мастерством. Она была жестока, и это оказалась не вынужденная жестокость, а жестокость сладострастная. Я пробовала вызвать у нее любовь хоть к какому-то живому существу. Коль скоро она не могла любить людей, я принесла ей маленькую собачку. Она стала выжигать ей раны на теле и искусно скрывала ожоги до тех пор, пока это было возможно. Когда же я все обнаружила, раны уже нагноились и собачонку пришлось убить. Мария стала вести себе как самая развратная, распущенная женщина. Через два месяца после нашего переезда в Лондон Мортимер стал ее любовником. Хотя не исключено, что это произошло и через два дня, просто я об этом не подозревала. Правда, слово «любовник» здесь не совсем уместно, потому что с любовью это никак не связано. С его стороны, как бы низок он ни был, возможно, и было что-то похожее на нежные чувства, но с ее — никогда. Она, как настоящее животное, лишь удовлетворяла свои низменные потребности. Нельзя сказать, что так она относилась исключительно к Мортимеру. В ее отношениях с лордом N и герцогом M любви было не больше. Но несмотря на это, не без моей помощи, конечно, ее репутация оставалась незапятнанной, хотя при ее профессии это не так-то просто. Да-да, если вы хотите посмотреть, где Мария Клементи выставляла напоказ свое тело, зайдите в доки и порты всех европейских столиц, отправьтесь во все притоны, в самые грязные закоулки небольших городов, — и там вы найдете следы ее деяний. Там была она с одним мужчиной, здесь — с другим, а то и со многими сразу. Я уже многое рассказала миссис Доуни до вашего прихода. Запомните только одно: Мария Клементи — омерзительное создание, самое худшее из всех, которые когда-либо ступали по этой земле. Хорошо еще, что мы постоянно переезжали из города в город: из Вены в Рим, из Рима в Будапешт... Если б не это, нам не удалось бы избежать беды. Мы с Мортимером, чтобы сохранять все в секрете, раздавали взятки направо и налево и постоянно переезжали с места на место. Так нам удавалось скрывать ее проделки. Между тем мы притворялись, будто имеем дело с ангелом. И все это время я знала, кого покрываю, — мне за это платили. Стоило кому-то задеть ее, расстроить или чем-то обидеть, она могла достать этого человека из-под земли, и тогда ничто не могло ее остановить. Того, кто не соглашался принимать ее условия, она заставляла дорого платить. Раскаяние было ей неведомо. Не помню, как долго я надеялась, будто что-то изменится, но в конце концов я поняла, что все бесполезно. Слишком долго я со всем этим тянула, слишком долго ела я ее хлеб и обманывала свою совесть.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Я бы предпочел, чтобы Корделия не слышала этого продолжительного покаяния. Как сказала сама миссис Джакоби, рассказ был не для ее ушей. Однако не могу не признать, что Корделия, внимательно все выслушавшая, не выказала ни страха, ни возмущения. Теперь же она сказала:

— Дорогая миссис Джакоби! Если все происходило именно так, как вы сейчас рассказали, то это означает, что вы оказались в очень и очень непростом положении. Тут уж точно не всякий сообразит, что следовало бы предпринять в такой ситуации и во что все это может вылиться.

— Что ж, — ответила миссис Джакоби, завязывая ленты на шляпке и уверенным движением расправляя накидку, — я очень благодарна вам за эти слова. Теперь мне

надлежит удалиться и заслужить себе прощение в Четхэме. Я сожалею только о том, что вынуждена перекладывать разговор с доктором на ваши плечи, ибо, говоря по правде, надеюсь только на то, что никогда больше не услышу ни имени мистера Франкенштейна, ни, уж конечно, имени Марии Клементи. Я готова пойти и расплатиться за содеянное. Однако перед уходом я хотела бы предупредить вас: если вы позволите втянуть себя в это дело, то вам, как и мне, впоследствии придется расплачиваться. Это гиблое, проклятое дело, и оно может опутать и затянуть самых честных людей, как затягивают на дно моря цепкие водоросли.

С этими словами она резко развернулась, пересекла комнату и вышла, оставив нас одних в холодной гостиной. Корделия проводила взглядом удалившуюся фигуру и, обернувшись ко мне, спросила:

— Джонатан, ты веришь ее словам?

— Не могу сказать наверняка, — ответил я. — Знаю только одно: нам надлежит ехать в Ноттингем, как только погода улучшится настолько, что можно будет отправиться в дорогу. Нельзя разочаровывать мое семейство. Все очень хотят с тобой познакомиться, а сам я жду не дожусь того, чтобы привезти тебя поскорее к себе домой. И тут я сделаю не только то, что должен, но и то, к чему у меня лежит душа, так что в ближайшее время мы последуем совету миссис Джакоби и скоро окажемся далеко от Лондона.

Корделия на это заметила:

— Ты вызовешь родителей мистера Франкенштейна? Им необходимо быть здесь. Они отгонят эту змею, которую он пригрел у себя на груди. Но перед тем как миссис Джакоби уедет, я должна повидать ее еще раз.

Я не стал интересоваться, что именно хотела выяснить Корделия у этой дамы.

Когда появился доктор, я, не стесняясь в выражениях, потребовал, чтобы с Виктором и ночью и днем находилась сиделка и чтобы Марии Клементи не позволяли оставаться при больном.

Мы сели в экипаж и отправились домой. Корделия сидела рядом, я держал ее маленькую холодную руку в своей, и только теперь ее обычная уверенность немного пошатнулась, и она тихо произнесла:

— Я немножко боюсь, Джонатан. И боюсь не того сумасшедшего великана, который может прийти и убить нас. Меня страшит то, что, вовлекая себя в это дело, касающееся мистера Франкенштейна, мы можем погубить свое счастье, свою радость, свою любовь.

Я лишь рассмеялся и назвал ее трусишкой.

13

В тот вечер мы сидели у камина. Дамы заняты были шитьем, и, дабы не возвращаться к грустным и тревожным событиям мрачного дома в Челси, мы говорили о предстоящем визите в Кеттеринг-холл. Затем миссис Фрейзер припомнила, что ее приглашали на вечер к подруге, титулованной леди из Шотландии, которая проживала в Лондоне. На этом вечере должен был выступать мистер Аугустус Уиллер. Однако в связи с предстоящим путешествием миссис Фрейзер решила предупредить подругу, что она не сможет прийти. Корделия заметила, что сестрица идет на настоящую жертву.

Дело в том, что Аугустус Уиллер, ученый и шоумен, вот уже несколько месяцев вызывал в Лондоне большой интерес своими представлениями. Аудитория приходила в восторг от его

спиритических сеансов, участники которых, в большинстве своем незнакомые ему люди, испытывали на себе удивительную и будоражащую нервы власть шоумена. Под действием его гипнотической силы зрители начинали кукарекать петухом, ходить на руках по сцене, рассказывать длиннейшие поэмы, которые перед этим считали совершенно забытыми, и вытворяли еще массу подобных вещей. Некоторые называли Уиллера шарлатаном, тогда как другие полностью ему верили. Третьи отмечали, что он проводит платные личные консультации, во время которых избавляет людей от заикания, от застенчивости и скованности в поведении. Он помог даже одной леди, которая не могла выйти за порог дома, чтобы не упасть в обморок. Газеты вели debates по поводу реальности гипноза, клерикалы предостерегали своих прихожан от обмана. Однако Уиллер был знаменитостью. Его приглашали большие люди, и многие важные персоны получали удовольствие от его представлений. Я обратился к миссис Фрейзер:

— Надеюсь, вы не собираетесь предложить, чтобы он на вас продемонстрировал действие гипноза?

— Боже упаси! — воскликнула она. — Не имею ни малейшего желания, чтобы весь Лондон смотрел, как я буду на сцене кудахтать, как курица.

— Ты считаешь, он не шарлатан? — спросила Корделия у миссис Фрейзер.

— Не знаю, что и думать, — ответила та.

— Есть много свидетелей, которые утверждают, что все это правда, — заметил я. — Однако это нарушает наши представления о человеке как о существе, обладающем свободной волей. Подумать только, один человек благодаря гипнотическому воздействию может убедить другого делать вещи, от которых тот в обычном состоянии воздерживается.

— Вот это как раз и страшно, — заметила моя милая хозяйка.

Наступила пауза, во время которой, как потом оказалось, мы с Корделией вместе подумали об одном и том же, ибо вскоре она продолжила:

— Я тут подумала, а что, если мисс Клементи... что, если этот мистер Уиллер... — И мы уставились друг на друга, как говорится, осененные догадкой, и никак не решались высказать свои мысли вслух.

— Ну давайте же, давайте... Что вы оба замолчали?! — сказала миссис Фрейзер. — Нельзя же начинать предложение и останавливаться на полуслове.

Тогда заговорил я.

— Думаю, мы с Корделией одновременно подумали о том, что мистер Уиллер — это последняя надежда для Марии Клементи обрести дар речи. Ее смотрели многие доктора и видные ученые, но никто из них так и не смог ей помочь. Не исключено, что человек, который мог заставить заикавшегося всю жизнь заговорить без запинки и который продемонстрировал миру множество прочих чудес, — а именно таковым и является Уиллер, — сможет повлиять и на Марию Клементи. Правильно, Корделия? Ты об этом хотела сказать?

Она кивнула, а миссис Фрейзер заметила:

— Может, оно и так. Но почему вы хотите помогать этой отвратительной женщине?

— Она единственный человек, который может рассказать, что именно произошло в ту ночь, когда на мистера Франкенштейна было совершено нападение. Возможно, она видела нападавшего. Но она не может говорить, а мистер Уортли предупредил, что, если даже злодея и поймают, а затем предъявят ему обвинение в убийстве, не исключено, что суд признает его невиновным за недостатком улик.

— Да разве ж такое возможно! — воскликнула миссис Фрейзер. — Человек, все равно что дикий зверь, все время крутится вокруг дома мистера Франкенштейна. Миссис Франкенштейн убита, на самого мистера Франкенштейна совершено нападение... И как они смогут после всего этого объявить, что тот человек невиновен?

— Уортли знает, что такое суд, — сказал я. — Он говорит, что никогда нельзя предсказать, как поведут себя присяжные. Особенно в таком случае, как наш, когда нет никаких свидетелей, способных подтвердить, что этот человек действительно на кого-то напал.

— Если еще они его найдут, — язвительно заметила миссис Фрейзер.

— Если найдут... — согласился я.

— И все же, — вставила Корделия, — если мистер Уиллер сможет помочь мисс Клементи заговорить, у нас есть шанс, что она согласится дать показания о нападении на мистера Франкенштейна.

— Мне казалось, что совсем недавно ты говорила, будто больше не хочешь касаться этого дела, — сказал я с притворным замешательством.

— Я говорила это абсолютно искренне, — ответила Корделия. — Но ведь женщина может иметь два разных мнения одновременно. Где вам, мужчинам, это понять! Бедному мистеру Франкенштейну нужна помощь, и мы не можем ему в ней отказать. Надо действовать как можно скорее, пока мы еще не уехали в Ноттингем.

— Тогда я завтра же поговорю с мистером Уортли, — произнес я. — Он сможет определить, насколько важны такие свидетельские показания. Затем нужно будет убедить Марию Клементи согласиться на лечение. С Уиллером, думаю, особых проблем не будет. Он быстро поймет, что этот эксперимент ему можно будет использовать как хорошую рекламу. А вот убедить Марию Клементи, да еще и без помощи миссис Джакоби... — И еще одна незаконченная фраза повисла в воздухе.

С Уортли я встретился на следующий день. Поначалу его смутило, что мы собирались получить показания свидетеля, воздействуя на того с помощью гипноза. Однако, немного поразмыслив, он согласился, что лучше располагать хоть какой-то информацией, чем не иметь ее вовсе. В конце разговора он добавил, что окончательное решение должны принимать мисс Клементи и мы, раз уж именно нам пришла в голову мысль прибегнуть к помощи мистера Уиллера.

В тот же день после полудня мы с Корделией направились на Чейни-Уолк и там были очень удивлены, когда услышали, что мисс Клементи опять наверху, у мистера Франкенштейна.

— Разве врач не объяснил четко и ясно, что мисс Клементи не разрешено находиться в комнате больного? — спросил я у слуги, но никакого ответа на мой вопрос так и не последовало.

— Она обвела сиделку вокруг пальца, — вполголоса проговорила Корделия, пока мы поднимались по лестнице. — Мы имеем дело с одной из самых хитрых женщин Англии.

Ее предположения оказались более чем правильными. Когда мы подошли к спальне Виктора, то увидели, что сиделка сидит снаружи, у дверей. Вспомнив, какой страх был написан на лице Виктора, когда я в последний раз его навещал из-за того, что Мария стояла около его кровати, я не сдержался и набросился на сиделку с обвинениями, в том что она нарушила строгий приказ доктора не пропускать мисс Клементи в комнату больного. И

наконец, я спросил, что помешало ей выполнить указания врача? Сиделка же в ответ начала бессвязно лепетать, что она никогда раньше не видела такой преданности и любви, что она якобы слышала, как больной все время звал Марию, и прочая ерунда. Эта женщина явно покорила очарованию прославленной певицы.

— Войдите и потребуйте, чтобы она оставила больно го, — сказал я.

Но сиделка не сдвинулась с места. Тут, к счастью, появился доктор, который направился в комнату Виктора, а затем вышел оттуда с послушно улыбавшейся ему Марией. Сиделку уволили, а Корделия привела добрую женщину, на которую можно было положиться.

— Ситуация очень сложная, — сказал доктор. — Мистер Франкенштейн находится в критическом состоянии. К тому же мы никому не можем доверять.

— Мы послали за его родителями, — сообщил я и обернулся к Марии, которая так и стояла около нас. Я попросил ее поговорить со мной наедине.

Очевидно, она многое устроила в доме на свое усмотрение, так как сразу же повела меня в небольшую гостиную, ранее принадлежавшую миссис Франкенштейн. Там ярко горел камин, а над ним висел портрет самой Марии в атласном платье и украшениях — совсем как портрет Дидоны, обманутой любовницы Энея, кисти сэра Томаса Лоуренса. Меня это потрясло, но я ничего не сказал. Вместо этого я объяснил ей как можно понятнее, что мистер Аугустус Уиллер имеет большие шансы вернуть ей дар речи с помощью гипноза. Она, казалось, все поняла, а имя Уиллера ей было известно. С помощью мимики она очаровательно и точно изобразила, чем он занимается: закрыв глаза, она склонила на бок свою красивую головку и подложила под нее ладони. Я добавил, что в случае успеха она сможет дать показания по делу покушения на Виктора. Мария вновь улыбнулась, закивала и всем своим видом показала, что готова помочь. Тогда я задал ей вопрос: могу ли я, с ее разрешения, начать переговоры с мистером Уиллером и постараться добиться его согласия на осуществление предложенного плана? Она и на это согласилась и лишь показала мне жестами, что искать ее теперь нужно будет не на Чейни-Уолк, а на Рассел-сквер. Ясно было, что она решила покинуть Чейни-Уолк и вернуться к себе домой (прихватив с собой, как я понял, и картину).

— Вот и хорошо, — сказал я. — Там я вас и найду сразу, как переговорю с Уиллером.

Я собрался уже было уйти, но перед этим посмотрел на Марию. Она, казалось, светила счастьем; веселость ребенка чудесным образом сочеталась в ней с очарованием женщины. Подойдя ко мне, она положила мне на плечи свои маленькие ручки и потянулась для поцелуя. Я поцеловал ее в лоб и быстро отступил назад, так как меня вдруг охватило необоримое желание заключить ее в объятия. Я внезапно почувствовал, что перестаю верить в то, что рассказала о ней миссис Джакоби. Однако мне было ясно, что поделиться своими сомнениями с Корделией я не смогу.

Я вернулся на Грейз-Инн-роуд, где меня поджидала моя будущая невеста. Мы сели поговорить; ее рука лежала в моей. Корделия улыбалась мне немного усталой улыбкой.

— Как мечтаю я о том, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы мы с тобой поженились и спокойно жили в мире и согласии. Я бы следила за домом, а ты заботился бы о земле и доводил до конца работу над своим словарем.

Я вдруг почувствовал, как на меня навалилась такая усталость, что я едва смог ей что-то проговорить в ответ.

А между тем, каковы бы ни были планы миссис Фрейзер, выехать из Лондона мы никак

не могли. Ударил сильный мороз, затем повалил снег, а потом мороз возобновился. При таких условиях преодолеть сотню миль до Ноттингема было нереально. Нелегко в это время было тем, кто в седле, а уж ехать в экипаже с двумя дамами и ребенком было бы и вовсе безумием. Нищие замерзли на папертях, птицы — на ветках. То был тяжелый год, и нам начинало казаться, что весна никогда не наступит.

Я воспользовался свободным временем, чтобы написать письмо Аугустусу Уиллеру. В нем я просил прославленного шоумена, чтобы тот подумал насчет попытки восстановить голос Марии Клементи, которую он, несомненно, знает. Я также упомянул о том, что в случае удачи она могла бы дать ценную информацию о нападения маньяка на мистера Виктора Франкенштейна, так как Мария Клементи, если это ему известно, является свидетелем данного нападения, и с ее помощью можно было бы установить личность преступника. Я настаивал, что предприятие это обязательно следует провести при закрытых дверях и оно никак не должно быть использовано им для саморекламы.

Ответ от мистера Уиллера пришел на следующий же день. Он благодарил меня за доверие и писал, что с удовольствием предпримет попытку восстановить голос Марии Клементи с помощью гипноза. Он также заверил меня, что при проведении эксперимента будет соблюдена полная конфиденциальность. Мистер Уиллер говорил в письме о силе гипноза и добавлял, что если мне и мисс Клементи захочется посетить так называемый «сеанс гипноза», который состоится вечером в помещении театра, то он будет рад предоставить нам билеты. Мне бросился в глаза изощренный и витиеватый стиль его письма; даже чернила, которыми он пользовался, были бледно-голубого цвета. Столь изысканные манеры навели меня на мысль, что он в большей степени шоумен, чем ученый.

Дело было улажено, и я послал записку Габриэлю Мортимеру на Рассел-сквер, уведомляя его, что завтра в полдень я зайду к нему по очень важному делу, если он никуда не собирается отлучиться.

На следующий день я прибыл, как и обещал, и меня провели в гостиную, расположенную на втором этаже дома. Окна этой комнаты выходили на площадь, и из них видны были припорошенные снегом заледенелые ветви деревьев. В гостиной жарко горел камин; она была со вкусом обставлена, увешана картинами и устлана яркими коврами. Напротив камина на стене я заметил портрет Марии в образе Дидоны. Она, вместе со своим живописным изображением, по-видимому, вернулась сюда и всерьез обосновалась на прежнем месте. Когда я вошел, Мария подняла голову от шитья, отложила его в сторону и направилась ко мне, протянув обе руки в радостном приветствии. Пока она оставляла свои маленькие нежные ручки в моих ладонях, Мортимер продолжал сидеть в кресле, вытянув ноги к огню.

Я не мог ее осуждать. И уже не был уверен, что на то имелись веские основания. Но почему, в конце концов, я должен верить словам миссис Джакоби? А не было ли между ними каких-то разногласий, которые и явились причиной увольнения компаньонки? Не это ли стало причиной ее злых рассказов о Марии? Но что же тогда означает выражение страха на лице Виктора в тот день, когда Мария сидела подле него... Разве не могло оно быть вызвано болью и ужасом перед надвигающейся смертью, а вовсе не женщиной, которая находилась рядом?

И все же я не мог не отметить, что Габриэль Мортимер вел себя здесь слишком по-хозяйски. Он запросто располагался в доме, где живет молодая женщина, недавно лишившаяся своей пожилой компаньонки. Но и это вовсе не означало, что встретившая меня

пара состоит в интимных отношениях. В конце концов, в театральной среде любовные связи так или иначе возникают из-за различных гастрольных волнений и перипетий, во время длительных совместных поездок. Мне-то какое дело до придирок пожилой женщины? Мария Клементи вполне могла вести себя неосторожно, но почему сразу нужно называть ее развратной? Вот такие мысли пришли мне в голову в те минуты. Я говорил себе именно то, во что сам хотел верить.

Я коротко изложил цель своего визита, заявив, что Аугустус Уиллер с радостью берется провести сеанс гипноза с мисс Клементи и надеется, что это поможет ей восстановить речевые способности. Габриэль Мортимер, несмотря на свой клоунский вид (в этот день на нем были вельветовые зеленые брюки, над которыми свисала такая толстая и тяжелая цепочка от часов, которая вполне могла бы составить конкуренцию цепям всех лондонских лордов), сразу понял всю серьезность предложения. Он поднялся, подошел к Марии и, посмотрев на нее сверху вниз, спросил напрямик, правда ли то, что она согласилась на проведение эксперимента с мистером Уиллером. Мария энергично закивала головой. Он еще раз задал ей вопрос, настаивая на подтверждении того, что она хорошо понимает, к чему это может привести. Мортимер объяснил, что под действием гипноза она заснет, а мистер Уиллер заставит ее говорить. Понимает ли она, что не сможет контролировать себя во сне, что будет полностью находиться в его власти и что никто не сможет гарантировать ей успешный результат и исключить вероятность еще одного поражения?

Мария улыбнулась, поднялась со стула и грациозно закружилась по комнате: милый ребенок, который с нетерпением ждет обещанного гостинца. Как лучезарно она улыбнулась! «Бедное создание, — подумал я. — Как тяжела была твоя жизнь с самого рождения! Бедная немая девочка, ее столь нещадно эксплуатировали в Ирландии, а теперь вынуждают жить в этих постоянных разъездах и выступать на концертах... Я сравнил ее тяжкую долю с жизнью моих сестер, обеспеченных и защищенных от всех невзгод. И как, должно быть, тяжело при такой сложной жизни еще и не иметь возможности говорить, выражать свои мысли, общаться с другими людьми. При такой жизни, наполненной аплодисментами и горами золотых монет, артисту всегда недостает простой нежности и утешения. И что удивительного в том, что она теперь танцует, а юбки ее парят в воздухе, как паруса. Она легка, как летящее перышко, а улыбка ее светится радостью и невинностью».

Еще несколько секунд — и Мария уже была у моего кресла. Она глядела прямо на меня, продолжая улыбаться. Ее серые глаза с огромными зрачками, не отрываясь, смотрели в мое лицо. Должен признать, я испытал страстный порыв, и во мне родилось желание его подавить. Мне безумно захотелось уступить ей, но я знал, что не должен идти на поводу у этого желания. Я со страхом посмотрел на это маленькое, воздушное существо, такое хрупкое и сильное одновременно. И я почувствовал, что она знает все мои мысли и ликует в душе.

Я спешно покинул ее и Мортимера, и мне в голову пришла мысль, что они, наверное, расхохотались, стоило мне закрыть за собой дверь. Я шел домой и ругал себя за то, что позволил так легко себя одурачить. Я принял решение больше никогда не встречаться с Марией и не иметь с ней ничего общего. Она запросто может привести меня к гибели, как привела к гибели несчастного Виктора. Ее невинность фальшива, она обманывала меня. Мария Клементи — это змей-искуситель. У меня возникло сомнение, сможет ли Уиллер ее загипнотизировать и не одержит ли верх она, сама загипнотизировав его?

Придя домой, я обнаружил, что Корделия и миссис Фрейзер ушли к кому-то в гости, а

верный Гилмор отправился с ними в качестве сопровождающего. И на этот раз я был рад, что их не оказалось дома, так как я испытывал чувство потрясения и стыда за свое поведение. Мне было необходимо время, чтобы оправиться после захлестнувшего меня болезненного желания и потребовавшего не меньшего усилия сопротивления. Осталось только дожидаться, когда растает лед на дорогах, ведь со своей стороны я сделал для Марии все, что мог. И пусть теперь Мортимер и Уиллер думают, как лучше устроить сеанс гипноза.

К счастью, погода сжалилась над нами, и началась оттепель; движение на дорогах возобновилось. Мы приняли решение поехать наконец в Ноттингем. Миссис Фрейзер собиралась провести несколько дней с нами, после чего отправиться, как всегда с Гилмором, в Шотландию.

Накануне нашего отъезда холл до позднего вечера постепенно заполнялся картонными коробками, Флора никак не могла уговориться, без конца вскакивала с кровати и утверждала, что не хочет спать, а Корделия давала инструкции служанке и поварихе, которые оставались следить за домом. Тогда-то и вошел слуга, который передал мне записку от мистера Уиллера. Я открыл большой конверт, на котором голубыми чернилами было выведено мое имя.

«Сэр, — так начиналось письмо. — Моя первая встреча с мисс Клементи состоялась. Я удовлетворен: мисс Клементи заговорила! Это для меня настоящий сюрприз. Однако продолжать далее наши сеансы я не решаюсь, так как есть вещи, которые вызывают у меня тревогу. Не могли бы вы срочным образом со мной встретиться и обсудить некоторые детали? Мистер Мортимер настаивает на том, чтобы эксперимент продолжался, однако у меня есть на этот счет некоторые сомнения, и я не могу представить другого человека, кроме вас, с кем я мог бы этими сомнениями поделиться. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой принять меня завтра днем. Если вам это неудобно, пожалуйста, дайте мне знать. Я готов принять любые условия, так как мне необходимо встретиться с вами для небольшого разговора».

Но обстоятельства складывались не в пользу этой встречи: нас с нетерпением ждали в Кеттеринг-холле мои отец и сестры, и я должен был представить всем Корделию в качестве моей будущей жены. Мы уже и так слишком долго откладывали эту поездку из-за плохой погоды, и я никак не мог допустить, чтобы событие, для всех нас столь знаменательное, было отложено вновь.

К тому же я понимал, что не должен поддаваться соблазну, а потому не имею права допустить, чтобы меня втянули в новые отношения с Марией Клементи. Если это произойдет, я могу потерять все. И что еще хуже, я перестану осознавать, чего я лишился.

По этой причине я оставил слуге Корделии записку для Уиллера, в которой сообщал, что мы отправляемся в поездку и он, если захочет, может написать мне в Кеттеринг. С этим мы и уехали на следующий день рано утром, оставив позади печаль и страх и (что, вероятно, было всего важнее) убежав от соблазнов лондонской жизни.

Мы ехали размеренно. Гилмор внимательно следил за лошадьми, так как экипаж наш был порядком перегружен. Флора, у которой опыт путешествий в столь юном возрасте был совсем невелик, пребывала в радостном возбуждении, а мне было приятно видеть, что благодаря этой поездке у моей Корделии стало легче на сердце. Правда, она немного

волновалась из-за того, что не знала, как примут ее в новой семье.

Как только мы двинулись в северном направлении по холодной и бодрящей погоде, мои тревожнения и заботы начали отступать.

На середине пути было решено остановиться в придорожной гостинице. Мы с Гилмором повели лошадей в конюшню, и тогда-то он обернулся ко мне и спросил, что нового известно о Франкенштейне. Конечно, он, как и все в Лондоне, слышал о совершенном на Виктора нападении. Я рассказал ему все, что мог. Он ответил только одно:

— Я все-таки не сомневаюсь, что то несчастное существо, которое доктор держал запертым в сарае на Оркни, несмотря на то ужасное состояние, в котором оно находилось, на самом деле было человеком. Он-то, я думаю, и пришел теперь отомстить мистеру Франкенштейну.

Я ответил, что не исключаю справедливость его предположений и нам всем следует благодарить Бога за то, что мы наконец-то уезжаем подальше от Лондона. Гилмор с этим горячо согласился.

Когда мы прибыли в Кеттеринг, нас там уже ждали мой отец, Арабелла и Анна, устроившие нам очень теплый прием. К тому же у нас в доме гостил замечательный Дадлей Хаит, который в мае должен был стать мужем Арабеллы. Миссис Фрейзер осталась еще на несколько дней, так что компания у нас подобралась большая и веселая. Маленькая Флора радовалась свободной жизни в большом доме. Девочка могла теперь разгуливать по всему поместью, к тому же вскоре она крепко подружилась с управляющим и стала его любимицей. Он откуда-то раздобыл для Флоры пони и стал возить ее на прогулки по всему поместью: он впереди на своей гнедой, а она за ним на Тэнси — так девочка назвала свою маленькую лошадку. А однажды ночью, вскоре после нашего приезда, они поехали смотреть, как играют барсуки в полнолуние.

Трудно переоценить ту доброжелательность и теплоту, которую выказали отец мой и мои сестры при появлении в нашем доме Корделии. Я, конечно, понимал (что греха таить!), что отец надеялся на более удачную партию для меня. Он рассчитывал, что я получу от судьбы нечто большее, чем вдова бедного адвоката, да еще и с дочкой. Несмотря на это, он принял Корделию сердечно и проявил к ней искреннее расположение. То же самое можно сказать и о сестрицах. Выяснилось еще одно интересное обстоятельство, о котором до тех пор не подозревали ни я, ни Корделия. Мой отец во времена своей учебы в Тринити прекрасно знал отца моей невесты, Джона Джессапа. Как-то за обедом мы от всей души смеялись над теми проделками, которые вытворяли наши папаши в студенческие годы. Выяснилось, что в колледже отца Корделии перекрестили в Джека-радикала из-за его крайних взглядов на жизнь. Оказалось, что Джек держал в своей комнате пару волкодавов и парочку ястребов, и это обстоятельство не приводило в восторг ни соседей-студентов, ни местные власти. Чего тогда только не было в их студенческом кружке: и кутежи, и игры, и неуплаченные долги, — так что я даже приуныл, когда вспомнил все те наставления и увещевания, какими изобиловали письма моих родителей, которые я сам получал в пору студенчества.

В общем, мы много веселились, ходили по гостям и принимали соседей. Дамы, конечно же, вели разговоры о новых фасонах и стилях. Их дискуссиям об узорах и вышивке, о рюшах и оборках и прочих, представляющихся мужчинам загадочными делах, не было конца. Это отчасти является ответом на вопрос, почему же милые дамы не занимаются серьезным изучением вопросов из области философии и других наук и не предаются глубоким

размышлениям — у них, к счастью, совсем не остается на это времени и сил. Итак, четыре дня мы предавались радости и веселью, пока на пятый день темная туча не закрыла ясный небосклон нашего счастья: пришло еще одно тревожное письмо от Аугустуса Уиллера.

В то утро мы должны были отправиться на охоту — традиционное для Кеттеринг-холла занятие. Кругом царило возбуждение и суматоха. Флора вскочила на ноги, едва забрезжил рассвет, так как ей было разрешено на безопасном расстоянии следовать за охотниками на своем пони. Мы рано позавтракали и, одетые для верховой езды, присоединились к соседям, которые к этому времени уже прибыли. У дома вышла задержка, пока конюхи подводили оседланных лошадей и помогали забраться в седла гостям. Было ясное утро, и мы возлагали большие надежды на предстоящий день. И вдруг появился мальчик-посыльный с письмами.

Слуги уже убрали со столов и разносили теперь горячий пунш оседлавшим коней охотникам. Раздавался лай борзых, уже готовых к охоте. И тут я открыл письмо и внезапно почувствовал, что счастливые дни в Кеттеринге были всего лишь передышкой и страшное дело Виктора Франкенштейна продолжается.

Я дал себе обещание: что бы ни было в этом послании, из Кеттеринга я не уеду. Письмо же было следующего содержания:

«Мой дорогой мистер Гуделл!

Я очень сожалею, что не застал вас тогда в Лондоне, и считаю теперь необходимым сообщить вам о странных, вызывающих у меня тревогу результатах моей встречи с мисс Клементи, посетить которую вы меня просили. Очень сожалею, что вынужден вас побеспокоить по этому поводу, однако считаю, что вы должны (и, полагаю, сами бы того захотели) узнать об этом, поскольку именно вы были настолько любезны, что предложили мне оказать ей помощь.

Сначала я должен сообщить вам, что ранее меня уже просили использовать силу, которой я владею, в некоторых непонятных случаях, когда не было видимой причины страданий пациента. Пытаясь принести облегчение в подобных ситуациях, я, как и любой врач, прибегал к помощи доступных мне средств. Но, к сожалению, все успешные попытки не давали длительного результата, а лишь приносили временное облегчение, после чего пациенты возвращались к первоначальному состоянию. Однако никогда еще в своей практике не приходилось мне сталкиваться с тем, что произошло во время нашей встречи с мисс Клементи. Я не могу сказать, что потерпел фиаско, — наоборот, первый сеанс оказался многообещающим. И все же сложившаяся ситуация настолько меня встревожила, что я засомневался в том, стоит ли мне вообще продолжать лечение.

Я прибыл в дом мисс Клементи на Рассел-сквер февральским вечером, за день до того, как обратился к вам с просьбой о встрече. Я приехал туда около половины третьего и был любезно встречен самой мисс Клементи и ее импресарио мистером Мортимером. Еще один джентльмен, которого мне так никто и не представил, подъехал немного позже и вместе с мистером Мортимером присутствовал во время сеанса.

Я бы предпочел, чтобы вместо него присутствовала еще одна дама, или какие-нибудь родственники, или компаньонка мисс Клементи, и все же мне пришлось пойти на проведение сеанса в присутствии этого человека. Если б я предвидел, что нас ждет, я бы настоял на своем, но случилось то, что случилось. Хоть я и находил

отсутствие еще одной дамы и присутствие мистера Мортимера и второго молодого джентльмена довольно необычным, я не видел причин отказываться от эксперимента. В молодом джентльмене я узнал человека, который присутствовал ранее на одном из моих сеансов в частном доме, однако имени этого мужчины я так и не вспомнил.

Вполне возможно, что и сама мисс Клементи чувствовала себя несколько неловко в создавшейся ситуации. Как бы то ни было, но гипнозу она поддавалась только после того, как я приложил большое количество усилий. В соответствии с давно установившейся практикой мой метод состоит в том, чтобы ввести пациента в состояние транса, раскачивая перед его глазами какой-то предмет (я использую для этого кристалл на золотой цепочке, а сам все это время тихо с пациентом разговариваю, таким образом расслабляя его сознание и вводя его в необходимое для эксперимента состояние).

Итак, я сидел напротив мисс Клементи в таком же кресле, как и она, и раскачивал перед ней кристалл на цепочке, поднося его все ближе и ближе. Пока это происходило, мистер Мортимер и его приятель стояли, облокотившись на стену около двери, и наблюдали за всей процедурой. Вели они себя при этом абсолютно неподобающим образом: громко переговаривались друг с другом, а один раз даже позвонили и попросили принести им вина.

Столь нежелательная атмосфера, возможно, оказала определенное влияние и отчасти стала причиной трудностей, с которыми я столкнулся при попытке ввести мисс Клементи в состояние транса. Загипнотизировать ее было совсем непросто. Обычно человек либо с готовностью поддается гипнозу, либо выставляет против него некоторого рода защитную реакцию. Первый тип реакции более характерен для женщин, последний — для мужчин. Реакция мисс Клементи не походила ни на первый, ни на второй вариант. Она сидела в кресле, очаровательно улыбаясь, и рассматривала раскачивающийся кристалл с каким-то нейтральным интересом.

Я решил, что она, имея опыт работы на сцене, пришла к убеждению, будто сеансы гипноза являются не научной практикой, а ловкачеством, созданием у человека своего рода иллюзий, примерно как в случае с магами и фокусниками. Тщетно раскачивал я перед ней кристалл из стороны в сторону, произнося при этом, как некоторые выражаются, «заклинания» (фактически, это набор фраз, заставляющих пациента расслабиться и поддаться гипнозу).

Был момент, когда я, поняв бесполезность кристалла в данном случае, попросил ее просто посмотреть мне в глаза, надеясь повлиять на нее иным образом. Но я вскоре оставил и эту попытку, ибо, когда она обратила свои глаза на меня, я увидел в них пустоту, которая чрезвычайно меня встревожила. Глаза ее походили на два больших черных озера — зрачки оказались сильно расширены. В этот момент они были подобны глазам зверя (если позволительно такое сравнение). У человека не может быть таких глаз. На какой-то миг мне показалось, что она хочет взять надо мной верх, пытается подчинить меня себе...»

В этом месте я прервался и положил письмо на каминную полку. Комната уже давно опустела. Через удлиненное окно мне была видна лужайка за домом, всадники и их пешие сопровождающие. Борзые то сбивались в кучу, то разбегались. Был как раз тот момент, когда

все испытывали радость от предвкушения предстоящей охоты. Слышались крики, смех, лай собак. Среди всей этой толчеи я увидел конюха, который держал поводья моей лошади и вопросительно поглядывал на меня. Сидевшая в седле Корделия (она участвовала в качестве сопровождающей, но сама не охотилась) легонько подтолкнула свою гнедую и подвела ее через толпу прямо к окну, тем самым безмолвно вопрошая, когда же я выйду. Я указал ей жестом на письмо и дал понять, что я скоро. Моя невеста, поскольку она еще неуверенно держалась в седле, развернула лошадь и направила ее через толпу к тому месту, где было поменьше народу.

Тогда мне подумалось, что, коль скоро я начал читать это письмо, в каждой строчке которого сквозила тревога, к чему бы оно ни привело, я его закончу не откладывая. За чтением я услышал, как прозвучал охотничий рожок, борзые ответили радостным лаем, и раздался топот копыт удалявшихся лошадей, который с каждой минутой становился все тише. Я представил себе, как охотники пересекают луг, держа курс на раскинувшиеся впереди поля. Они быстро взяли след, как я и предполагал, так как еще прошлой ночью, выглянув из окна, я заметил двух лисиц, игравших в траве у дома. Я тогда никому об этом не рассказал, потому что хотел дать животным шанс уйти: сам я люблю погоню, но не убийство, — впрочем, как и многие, хотя не все в этом признаются. Но вот шум охоты стал постепенно стихать, а я все еще стоял в комнате и продолжал читать письмо Уиллера:

«...Примерно через пятнадцать минут после начала сеанса я наконец сломил сопротивление мисс Клементи, ибо, хотя она сама о том не подозревала, веки ее под воздействием раскачивавшегося шара начали опускаться. А те двое, что стояли у стены, должен признаться, нисколько не изменили своего поведения и продолжали развлекаться так, словно они находились в трактире. Вскоре мисс Клементи впала в летаргический сон. Я взял обе ее руки в свои, глаза ее открылись и снова закрылись. Наконец-то она вошла в состояние транса.

Мистер Мортимер и его приятель, заметив, что ситуация изменилась, оставили свои шуточки и подошли ближе. Тогда я приказал мисс Клементи открыть глаза. Она так и сделала. Она мне подчинялась.

Начал я с того, что задал ей несколько пустяковых вопросов, на которые она никак не отреагировала. Тогда я произнес: «Мария, ты знаешь, что можешь говорить. И теперь ты должна это сделать. Говори!» Она ничего не сказала, но я заметил, что голова молодой женщины слегка дернулась, как будто что-то ее взволновало, и дыхание участилось. Внимание обоих мужчин было теперь приковано к происходящему. Я знал, что должен действовать постепенно и с чрезвычайной осторожностью. Я понял, что мисс Клементи из тех людей, которые плохо поддаются гипнозу. Такие люди даже в состоянии транса сохраняют остаточный контроль над своими действиями. Я осознал также еще одну вещь: волнение ее было вызвано тем, что я опроверг ее неспособность говорить.

Мистер Гуделл! Много лет назад в моей практике был случай, когда я продолжал требовать ответы на вопросы, вызывавшие у пациента волнение. Я не буду описывать здесь последствия, но они были очень печальны, и я дал себе клятву, что больше никогда не прибегну к подобным действиям. Примерно такая же ситуация сложилась сейчас с мисс Клементи. И теперь рядом со мной стояли два человека, которые с такой настойчивостью требовали от меня продолжения,

будто они участвовали в азартной игре. Я тоже испытывал сильное любопытство. Мне очень хотелось добраться до сути и разгадать эту загадку. Поэтому я рискнул, хотя делать этого мне не следовало, и повторил мисс Клементи мои слова, продолжая утверждать, что она может говорить и должна говорить. Увы! Ее возбуждение усилилось еще более. Она начала резко поворачивать голову то в одну сторону, то в другую; могло показаться, что она пытается сбросить со своей шеи чьи-то руки, которые пытаются ее задушить. Грудь ее вздымалась и опускалась в конвульсиях, как будто она была на грани безумия. Однако мисс Клементи по-прежнему не издавала ни звука.

Но вот ее рот открылся. Она пронзительно закричала: «Пожар! Я горю! Пожар!» — потом издала страшный пронзительный вопль и начала вертеться на кресле, как будто испытывала сильную боль от настоящих ожогов.

Я бросился к ней, схватил за плечи, приблизился лицом к ее лицу и уже готов был приказать, чтобы она проснулась, ибо боль, которую она испытывала, казалась мне невыносимой. Но в этот момент тело ее неожиданно обмякло, и она начала (мы по-прежнему находились лицом к лицу, и при этом она не подозревала о моем присутствии) исполнять песню на французском языке. Она пела детским голосом, который не имел ничего общего с голосом, которым прославленная Мария Клементи пела со сцены. Она исполняла одну из тех отвратительных песенок Французской революции, с которыми повстанцы шагали по улицам, врывались в дома, грабили и убивали своих соотечественников. Песня эта не нова — ей уже более полувека, — но она до сих пор передает дух обезумевших мятежников, что заставляет содрогнуться всех, кто помнит прошлое и боится его повторения в будущем. Мне казалось, что она пела строчки этой песни так, будто выучила их еще ребенком, сидя у мамы с папой на коленях. «Не такая уж это странная мысль, — подумал я, — ведь о ее прошлом ничего не известно. Может, ее родители действительно носили красные шляпы Французской революции!»

На этот раз чрезвычайно встревожились мистер Мортимер и его безымянный приятель. Одно дело, когда ты становишься свидетелем сеанса, во время которого мужчина изображает какое-то животное или дама обхватывает руками голову безо всякой на то очевидной причины и держит ее так минут пять. И совсем другое — когда молодая женщина под действием гипноза оказывается на грани безумия. А именно к этой грани — увы! — я ее и подвел.

Молодой человек, который определенно принадлежал к высшему обществу, в изумлении стоял рядом — наполовину напуганный, наполовину замороженный — и всем своим видом напоминал мне мужчину, который пришел в бордель поглазеть на женщин легкого поведения. Мортимер, будучи человеком здравомыслящим (вне зависимости от его моральных качеств), захотел остановить эксперимент, хотя и не совсем правильным образом. Он бросился вперед, стремясь схватить мисс Клементи, и прокричал: «Мария! Мария! Проснись, бога ради, проснись!»

Но я, продолжая держать ее за плечи, энергично затряс головой и, обращаясь к нему, прошептал: «Нет! Я сам это сделаю. Вы можете причинить ей вред!» После этого он отступил на шаг, а я спокойным тоном приказал Марии Клементи проснуться и забыть все, что с ней происходило в состоянии транса. Она перестала петь, открыла глаза и обвела нас всех довольно спокойным взглядом. Казалось, она

не имела никакого представления о том, что происходило здесь несколько минут назад. Затем она поднялась на ноги, посмотрела на наши изумленные лица и вышла из комнаты грациозной походкой. Я не без труда остановил Мортимера и его приятеля, которые собрались было последовать за ней. Позвонив в колокольчик, я вызвал служанку и послал ее следом за хозяйкой. Буквально через несколько минут служанка сообщила, что Мария легла в кровать как была, в одежде, сняв только туфли, и заснула глубоким сном.

«А будет ли она говорить, когда проснется?» — задал мне Мортимер насущный вопрос, но я и сам не знал на него ответа. Я только предупредил импресарио, чтобы он ничего не рассказывал Марии о том, что она делала в состоянии транса, ибо я опасался разбудить в ней воспоминания, которые были для нее слишком болезненны.

Вскоре я снова встретился с Мортимером, который рассказал мне, что через несколько часов после сеанса Мария Клементи очнулась ото сна, как раз ко времени своего вечернего выступления, но оказалось, что она нема, как и раньше. Мортимер, следуя моим инструкциям, старался не рассказывать о том, что произошло с ней в состоянии транса, хотя она проявляла сильное любопытство. Он сказал, что мисс Клементи желает продолжать попытки восстановить свою речь. Я ответил, что не испытываю особого желания продолжать, особенно, как я подчеркнул специально для Мортимера, из-за того, что сеансы проходят в неподходящей для этого атмосфере, которую он создает вместе со своим другом. Хотя для меня и, по всей видимости, для него вполне очевидно, что мисс Клементи может говорить, ибо именно это она и делала, когда кричала: «Пожар! Я горю!»

Я также сообщил ему, что с такими страданиями, как у нее, я уже сталкивался, хотя и очень редко. При этом мои пациенты подчинялись приказам, которые слышны были им одним, действовали в соответствии с этими приказами. Я рассказал Мортимеру, как на моих сеансах калеки начинали ходить, а заики переставали заикаться. Но у меня сложилось впечатление, что такому страдальцу его состояние навязано им же самим. Он отдает себе некие приказы, которые ужасно боится не выполнить, и это происходило до тех пор, пока я, введя его в состояние гипнотического транса, не отдавал контрприказы, которые все отменяли. Я спросил у Мортимера, не случался ли в жизни мисс Клементи какой-то пожар, во время которого она потеряла тех, кого любила. Возможно, тогда вовремя не подняли тревогу, и вследствие этого она приговорила себя замолчать раз и навсегда.

Мортимер ответил, что не знает ничего о подобном событии. К тому же он дал мне ясно понять, будто воспринимает все, что я ему говорю, как сущий вздор. Он высказал предположение, что под гипнозом у мисс Клементи просто разыгралось воображение и что созданные ею образы не стоит воспринимать серьезно. Важным во всем этом, по его словам, было лишь то, что под моим влиянием она заговорила, и чем раньше мы встретимся и продолжим работу, тем лучше. Мортимер не сомневался, что через неделю-две она заговорит. Он даже слушать ничего не желал, когда я пытался объяснить ему, что под гипнозом пациенты не видят сны, как он это себе вообразил, а, наоборот, еще менее склонны к фантазиям, чем многие из нас в повседневной жизни.

Он игнорировал все, что я говорю. Его бесполезно в чем-либо убеждать. Я думаю, что его стремление вернуть мисс Клементи речь отчасти альтруистическое, но нельзя также не учитывать, что в этом деле он почувствовал выгоду не только для своей подопечной, но и для себя самого. Я сказал ему напрямик, что не уверен в возможности продолжения сеансов, так как опасаясь, прежде всего, за состояние психики мисс Клементи. Кроме того, я не хотел бы, чтобы молодая леди вновь оказалась в неблагоприятной атмосфере, которую он создал в прошлый раз со своим приятелем. Если я и соглашусь на следующий сеанс, то он будет проходить только в присутствии врача и какой-либо женщины с хорошей репутацией, которая является подругой Марии. Реакция мисс Клементи, как я объяснял Мортимеру, была настолько неожиданной и пугающей, что я не могу припомнить ничего подобного за все тридцать лет моей практики, и я не имею права взять на себя ответственность за последствия.

Признаюсь вам, мистер Гуделл, что именно эти соображения удержали меня от того, чтобы сразу же возобновить сеансы. Случай с мисс Клементи мне представляется чрезвычайно любопытным. На мой взгляд, он может значительно расширить наши представления о гипнозе. Но все-таки, действуя в интересах науки, нельзя забывать об ответственности. Человек, жаждущий раздвинуть границы медицины, может препарировать сотни трупов, не нанося вреда ни единому живому существу, и результаты его трудов могут дать пользу многим последующим поколениям. Но когда он проводит эксперимент с живым человеком, ему необходимо серьезно осознавать всю меру ответственности, которую он на себя берет. Недопустимо приобретать знания, нанося ущерб здоровью и счастью человека! Однако — увы! Как мы видим, мистер Гуделл, ученые часто поддаются подобному соблазну.

Наша беседа с Мортимером завершилась не самыми вежливыми выражениями. Час спустя он написал мне письмо с извинениями, и с тех пор я ежедневно получаю от него письма, в которых он настоятельно просит, чтобы я вновь посетил Марию Клементи и провел с ней сеанс гипноза. Он предлагает мне большие суммы денег, но я от них отказываюсь. Сейчас он привлекает на свою сторону все больше людей, и я боюсь, что давление на меня усилится.

Короче говоря, дорогой мистер Гуделл, я очень прошу вас поделиться со мной своими соображениями на этот счет и дать совет, как мне следует поступить. У мисс Клементи нет семьи и, как оказалось, нет настоящих друзей, зато вокруг нее много таких людей, которые хотят эксплуатировать ее талант. Не могли бы вы мне помочь в этом деле, мистер Гуделл, или посоветовать, к кому мне следует обратиться за помощью? С нетерпением жду вашего ответа».

Я выругался и отложил письмо. Но, несмотря на мое раздражение, я ни минуты не раздумывал над тем, как же мне теперь поступить. Мысль отправиться в Лондон была очень соблазнительной. Я понимал, что мной движет любопытство, хотя и знал, что ехать мне туда не следует. Но поскольку ход этому делу дал именно я, то и проследить, как оно продвигается, — моя обязанность. Перед моим мысленным взором предстала Мария, которая, сидя на стуле, извивалась от боли, явившейся ей в воображении. Но что же подумает моя семья? Я приехал сюда со своей будущей невестой и вдруг, не далее как через

неделю, покидаю ее? Что подумает обо мне сама Корделия, когда я оставлю ее одну с людьми, которых она едва знает, а сам я уеду в Лондон, позволяя вовлечь себя вновь в это грязное дело? «Нет, — решил я для себя, — мне нельзя никуда ехать. Просто не хочу, вот и все. Сегодня же вечером напишу Уиллеру письмо. В Лондон я не поеду».

С этой мыслью я поспешно вышел из комнаты и отыскал конюха, который ходил с моей лошастью на заднем дворе у конюшни. Я вскочил на спину моего старого доброго Родни — и только меня и видели.

Резвый галоп по полям под звуки охотничьего рожка развеял мрачные мысли, вызванные письмом Уиллера. Вскоре я догнал пеших, а затем поравнялся с всадниками, обогнал Флору, пришпоривавшую свою маленькую лошадку, и Корделию, ехавшую подле дочери с грустным видом. Не сбавляя скорости, я поднялся на небольшой холм и увидел охотников, пересекавших большое вспаханное поле, распростертое под ярко-голубым куполом неба. Впереди них я разглядел жавшуюся к кустам и метавшуюся в панике лисицу.

Мы пересекли еще одно поле и взяли курс прямо через наши угольные месторождения. Копыта цокали по утоптанной земле, когда мы проезжали мимо ворот и лебедек, поднимавших на поверхность раскачивающиеся корзины с углем, мимо мужчин с черными лицами и женщин в темной, мрачной одежде, просеивавших уголь через большие сита.

Миновав и эти два акра черной земли с маленькими лужицами, мы опять выехали на поля, а за ними, в перелеске, борзые наконец настигли преследуемого зверя, и дело было сделано. Но не успели мы собраться вокруг трофея, как собаки учуяли новый след, и вся компания вновь помчалась вперед, по долинам и холмам. В этот день мы настигли еще одну жертву и могли бы продолжить преследование, но начался дождь, который намочил как лошадей и собак, так и людей и спутал все следы, поэтому мы, вполне удовлетворенные, повернули домой, куда вскоре и прибыли, усталые и промокшие, но в отличном расположении духа.

И вот вскоре мы уже вновь сидели в гостиной, удобно устроившись у камина. Мои сестры, Корделия и миссис Фрейзер занялись шитьем. Через три дня у соседей намечался бал, так что не один подол нужно было подогнуть, не одну ленточку пришить, не одну оборку подогнать. Отец отправился в кабинет, а будущий муж Арабеллы сел вместе с нами, подавая дамам наперстки и иглы и исполняя все, что от него требовали. Я расположился в стороне и смотрел, как льет дождь за окном, как стекают капли по оконному стеклу. Окинув взглядом плоскую равнину, я вновь стал думать о письме Уиллера.

Возможно, Корделия прочитала мои мысли, ибо она подняла от шитья голову и спросила:

— Что так встревожило тебя в том письме, которое ты получил сегодня утром, Джонатан?

— Оно было от Уиллера, гипнотизера, — ответил я.

Мои слова, конечно же, сразу вызвали всеобщий интерес. На пути из Лондона мы все: Корделия, миссис Фрейзер и я, — договорились, что постараемся как можно меньше распространяться в Кеттеринге по поводу ужасного дела Франкенштейна. Однако информация о совершенном на него нападении сразу после убийства его жены и сына дошла, конечно же, и до этих мест. Так что теперь мне пришлось рассказать собравшейся компании следующее:

— Певица по имени Мария Клементи, которая, как вы, вероятно, знаете, может петь, но не способна говорить, присутствовала при нападении, совершенном на моего друга Виктора

Франкенштейна. Многие врачи пытались вернуть ей дар речи, но потерпели фиаско, и последние надежды возлагались на гипнотизера, к которому обратились за помощью. В случае удачи она могла бы рассказать все, что видела во время нападения на мистера Франкенштейна.

— Опасные игры, — заметил Дадлей Хаит. Казалось, он произнес это случайно, как предсказание, ибо был по натуре добросердечным и простоватым помещиком и его больше занимали окружающие угодья, нежели те странные дела, что творятся в столице.

— Ну и как, — спросила Корделия, — рассказал ли он о своей встрече с мисс Клементи? Что из всего этого вышло?

Я отошел от окна и подсел к расположившейся у камина компании. Мне не очень-то хотелось говорить на эту тему. Здесь была Флора — она хмурила бровки над своими стежками, — а я не из тех, кто считает своей обязанностью готовить детей к трудностям жизни с раннего возраста. Я уже решил для себя, что не поеду в Лондон, а вместо этого напишу Уиллеру письмо. И вот теперь я начал понимать, как велик соблазн поехать. Так, наверное, чувствует себя человек, в крови которого начинает бродить какая-то болезнь. Однако я ответил всего лишь следующее:

— Результат нельзя назвать положительным. Уиллер не хочет предпринимать дальнейших попыток восстановить голос мисс Клементи. — И больше, несмотря на множество последовавших за этим любопытных вопросов, я не сказал ничего.

В тот же вечер я написал Уиллеру письмо, в котором советовал более не посещать Марию. Я обещал зайти к нему, когда в следующий раз приеду в Лондон.

Дождь лил и на следующий день, и весь день после него. Однако утро, наступившее вслед за этим, было ясным и свежим. Вечером предстоял бал у соседей, которого даже я ждал с нетерпением. Я поднялся рано и собирался пройтись до угольных разработок, чтобы переговорить с управляющим, как вдруг во дворик, где я, стоя у конюшни, ждал, пока оседлают мою лошадь, вышла служанка с письмом в руке. С упавшим сердцем узнал я витиеватый, цветистый почерк на конверте, подписанном голубыми чернилами. Я изо всех сил противился поездке в Лондон. Какие еще ужасы хочет передать мне Уиллер, преодолевая расстояние, которое пролегло между нами? Всякая надежда на то, что новости могут быть хоть в какой-то степени обнадеживающими, пропала, как только я прочел первые строки письма.

«Мистер Гуделл! Надеюсь, что вы уже получили мое предыдущее письмо, в котором я сообщал вам, что боюсь продолжать опыты с Марией Клементи. Я также упоминал в письме, что заранее предупреждал мистера Мортимера, насколько это опасно. Но, увы! Вместо того чтобы прислушаться к моему совету, он полностью его проигнорировал и стал предпринимать действия, которые меня очень сильно встревожили. События разворачиваются очень быстро. Мне необходим ваш совет в этом деле, а возможно, и практическая помощь.

Мистер Мортимер и его приятель — тот самый молодой человек, о котором я вам уже писал (оказалось, что это мистер Джон Нотткатт, племянник герцога Нордшилдского, вольнодумца с размахом, как многие считают), — вместе разработали этот план. Они организовали сеанс гипноза с мисс Клементи, который должен будет пройти 4 марта в Королевском обществе перед приглашенными в качестве гостей знаменитостями, среди которых будут видные ученые и прочие

уважаемые люди. Я вновь и вновь повторял им, что не отважусь возобновить сеансы с мисс Клементи, если меня не обеспечат надежной поддержкой. И вы можете представить теперь, с каким ужасом жду я предстоящее испытание, которое пройдет, причем без всякой охраны, на глазах у огромной аудитории.

Мистер Гуделл, вы можете, конечно, сказать: «Но что здесь такого, Уиллер, — откажитесь!» Однако взгляните на меня с тем добрым участием, которое вам так свойственно. Я человек, который не располагает никакими иными доходами, кроме тех, которые зарабатываю собственными силами. Я завишу от благосклонности других людей. Мистер Нотткатт является старшим сыном брата герцога. У самого герцога плохо со здоровьем. В случае отказа я рискую навлечь на себя гнев будущего главы одного из самых могущественных семейств в стране (а мистер Нотткатт, будем говорить начистоту, не из тех, кто с легкостью прощает обиды). Я живу благодаря расположению подобных ему людей и боюсь их обижать. Более чем когда-либо я нуждаюсь сейчас в совете и поддержке такого джентльмена, как вы, у которого есть возможность поговорить с Нотткаттом на равных или же, говоря напрямик, противостоять ему в случае неудачи.

Поверьте, мистер Гуделл, я не хотел тревожить вас так скоро, сразу после предыдущего своего письма, особенно сообщениями о событиях столь малоприятных, однако я опасаюсь за состояние мисс Клементи, а также и за себя самого, ибо даже и предположить не могу, к чему приведет план, разработанный Мортимером и мистером Нотткаттом».

Свет дня померк для меня, когда я закончил читать письмо. Я выехал через поля к угольным разработкам в весьма мрачном расположении духа. Я смотрел на окружавших меня мужчин, женщин и их детей и на их нелегкий труд. Эти грустного вида люди в своей почерневшей от работы одежде произвели на меня еще более угнетающее впечатление.

Я бы очень обрадовался, если б в письме Уиллера была хоть какая-то зацепка, которая позволила бы мне отмахнуться от соблазна поехать в Лондон. Но полученные мной известия, напротив, не давали мне права оставаться более в стороне. Ведь это я нес ответственность за результат эксперимента, это была моя идея попытаться заставить Марию заговорить.

Оба этих типа, вызывавших у меня неприязнь, — Габриэль Мортимер и его странный компаньон Джон Нотткатт — предлагают выставить Марию на всеобщее обозрение — так выставляют уродца перед праздной толпой. Мортимер, очевидно, решил, что это прибавит ей — и ему! — славы. Нотткатт, как я полагаю, был движим простым любопытством: так мальчишка тыкает палочкой в муравейник, чтобы посмотреть, как начнут разбегаться насекомые. Уиллер же зарабатывает себе немалый капитал, общаясь с сильными мира сего, и подвергать риску свое благосостояние, он, конечно же, не желает. Получается, что Мария Клементи со всех сторон окружена негодьями и трусами.

Я на неделю избавил себя от того лихорадочного возбуждения, ужаса и таинственности, которые окружали Виктора Франкенштейна, теперь же меня неотступно тянули назад. От этого никуда не уйти. Если я собираюсь ехать завтра, то необходимо поставить в курс дела семью и сообщить об этом Корделии. Именно это я и сделал. Мне пришлось заверить их, что поездка моя займет всего лишь несколько дней, а потом я сразу же вернусь. Лица у всех вытянулись. Все выразили сожаление по поводу того, что я вынужден вновь ехать в Лондон. В глаза Корделии я не мог смотреть. В течение дня она почти не разговаривала со мной.

Вечером, когда я одевался на бал, Корделия вошла в мою спальню и без лишних церемоний села на постель, глядя, как я натягиваю фрак. Она сказала:

— Джонатан, тебе обязательно ехать в Лондон? Нельзя ли отложить это дело? А может, все удастся уладить и без твоего участия?

— Боюсь, что мне необходимо поехать, дорогая, — сказал я, чувствуя себя лицемером и из-за этого злясь на самого себя.

— Может, тебе наскучило в деревне? — спросила она.

— Дорогая моя Корделия, это мой дом, и здесь собрались все те, кто дорог мне больше всего на свете. Уверяю тебя, я еду потому, что убежден — в этом состоит мой долг, а отнюдь не из-за того, что мне самому этого хочется.

Однако, говоря это, я понимал, что страстное желание заглянуть в каждый уголок на земле уводило меня сейчас из родного дома. Человек моего склада спустился бы и с небес, чтобы посмотреть, какое действие может оказать гипноз на Марию Клементи. Сейчас я бы выбрал иной путь, но тогда я был молод и горяч, и Мария влекла меня против моей воли. Я и не подозревал тогда, какие опасности представляет для человека подобный соблазн.

Корделия поднялась, чтобы перевязать мне галстук, и сказала в обычной своей манере:

— Я боюсь за тебя, Джонатан. И боюсь не только из-за того, что убийца до сих пор на свободе и бродит поблизости от своих жертв, — хотя и одного этого уже было бы достаточно для опасений. Я боюсь потому, что чувствую во всем этом нечто зловещее, от чего по спине у меня пробегает дрожь. С самого начала я это чувствовала, а теперь все стало еще хуже. Понимаешь ли ты, как я боюсь за тебя?

После этих слов я заключил ее в объятия, а о том, что за этим последовало, я не буду рассказывать. Тщеславие опять завело меня на ложный путь, ибо я подумал, что главной причиной, по которой она не хотела моей поездки в Лондон, было опасение, что я не устою перед чарами мисс Клементи. На самом же деле инстинкты не обманули мою Корделию: она боролась с бушевавшим во мне демоном любопытства, этим дьявольским, еретическим, неодолимым желанием знать.

Когда мы спустились вниз, чтобы выпить перед балом по чашечке чая с хлебом и маслом, я сказал Корделии:

— Большим утешением для меня будет то, что вы с Флорой находитесь здесь, в безопасности, вместе с моей семьей, которая уже приняла вас, как родных.

— Должна признаться, мои мысли о тебе не будут столь же спокойными, — только и ответила она, заставив меня тем самым почувствовать еще большую неловкость. А попросту говоря, показав мне, какой я негодяй.

Чаю мы все же выпили. Нам удалось убедить отца сопровождать нас на бал, и он оделся в свой костюм бутылочного цвета, который неизменно доставали для особо торжественных случаев. По весьма легкомысленному замечанию Арабеллы и Анны, облачение это, должно быть, впервые увидело свет при дворе королевы Анны. Леди удалились, чтобы еще раз перед тем, как отправиться в путь, взглянуть в зеркало, и нам с отцом пришлось остаться вдвоем среди пустых чайных чашек. Мы достали бокалы, чтобы выпить по глоточку красного вина, после чего отец, обращаясь ко мне, довольно резким тоном проговорил:

— Слышал, ты завтра нас покидаешь, Джонатан. Что-то я тебя не понимаю. Хочешь, чтобы я поверил, будто ты собрался преодолеть сотни миль при такой погоде, чтобы присутствовать на сеансе гипноза, и при этом ты намерен оставить очаровательную женщину, которую решил сделать своей женой и с которой провел здесь всего несколько

дней?! Я рассчитывал на тебя, надеялся, что ты поможешь мне в управлении имением. Но гораздо важнее не это. Ты нужен миссис Доуни — вот в чем дело. У меня складывается впечатление, что ты сошел с ума.

— Видишь ли, отец, я должен поехать, — сказал я.

Надеюсь, ты не собираешься влюбляться в эту за морскую танцовщицу, — сказал отец, попав в самое яблочко. — Немая красotka — большой соблазн для мужчины, но призываю тебя — будь стойким. Я возлагаю большие надежды на твою женитьбу, и прибытие очаровательной Корделии Доуни наполнило радостью мое сердце. Лучше женщины не найти, будь у нее хоть десять тысяч фунтов годового дохода. Боюсь, миссис Доуни воспримет твой отъезд как знак того, что ты ее отвергаешь. А она, право, этого не заслужила! Мне бы очень не хотелось, чтобы ваша женитьба расстроилась.

— Этого не произойдет, отец, — заверил я его, что еще более испортило мне настроение, ибо я наполовину солгал, хотя и не хотел себе в этом признаваться, — именно это больше всего и выводит человека из себя. К тому же отец мой поверил тому, что я сказал, а от этого мне стало еще тяжелее.

Бал оказался превосходным, однако я не буду здесь описывать свечи, платья дам или музыку. У меня возникло ощущение, что Корделия держала меня на расстоянии, и мне не особенно приятно было смотреть, как легко она отплясывала польку или котильон с местными кавалерами. Хорошо еще, что в те времена в нашем отдаленном уголке вальс считался неприличным танцем, ибо, если б я увидел, как она кружится в чьих-то объятиях, ничто не удержало бы меня от взрыва. Как бы то ни было, вид Корделии, весело танцующей с другими кавалерами, не прибавлял мне радости. Мрачное настроение — наш неизменный попутчик, когда мы отправляемся в сомнительное путешествие.

На следующий день я уехал из дому, когда все еще спали.

К полудню я был уже в Лондоне, забрызганный грязью с ног до головы, с лошадьё, которая едва не падала подо мной. Отведя измученное животное в конюшню, я направился прямо к месту проживания Уиллера на Фаррингтон-роуд, но его хозяйка угрюмо сообщила, что господин уже ушел: собрал свой саквояж и сказал кучеру в карете с гербом на боку, чтоб тот вез его на Гросвенор-сквер. Я направился на Рассел-сквер в надежде найти Марию, но там мне сказали, что она поехала с визитом в особняк Нотткатта на Гросвенор-сквер. «Так вот где состоится сегодняшнее мероприятие», — подумал я и отправился вслед за всеми на Гросвенор-сквер, в один из самых лучших особняков, сверкавший необычайной роскошью и великолепием. Дверь мне открыл лакей в ливрее, который вопросительно посмотрел на мой заляпанный грязью дорожный костюм.

Ссылаясь на имя мистера Нотткатта, я добился-таки разрешения пройти в огромный холл, отделанный мрамором и увешанный картинами, где в камине ярко горел огонь, а в кожаном кресле напротив камина скучал привратник. Холл оказался настолько большим, что там поместился бы, наверное, целый этаж дома, в котором жила миссис Доуни, и еще бы осталось место, где можно было бы развесить белье после стирки. При виде такого роскошного дома я стал лучше понимать, почему Уиллер так боялся поссориться с его хозяином.

Швейцар, выглядевший более представительно, чем иной премьер-министр, доложил о моем приходе и повел меня вверх по мраморной лестнице, затем по устланным коврами коридорам с горящими свечами в огромных подсвечниках к двери, около которой он остановился и постучал. Ответа не последовало — и он постучал снова. После небольшой

паузы дверь открылась на маленькую щелочку — эта несколько вороватая манера вряд ли соответствовала величию самого здания. В двери показалось лицо Аугустуса Уиллера. Увидев меня, он посмотрел как-то подозрительно и настороженно и не сделал никакого движения, чтобы приоткрыть дверь пошире. Получив от Уиллера два письма, в которых он умолял меня приехать, я решил, что он примет меня как спасителя. Но дело обстояло совсем иначе.

— Вы разрешите мне войти, Уиллер? — спросил я, хотя он не имел никакого права меня не впустить. Гипнотизер без особой охоты, как мне показалось, открыл дверь, и я вошел. Он сразу же плотно закрыл ее за мной.

Должно быть, это была одна из самых маленьких комнат в доме, хотя площадь ее составляла не менее двадцати квадратных футов. Она оказалась очень хорошо обставленной, выдержанной в синих и золотых цветах. На полу лежал прекрасный китайский ковер, несомненно очень дорогой, позолоченное французское зеркало висело над камином. Люди, находившиеся в комнате, видом своим явно не соответствовали ее стилю.

В центре комнаты в шезлонге напротив камина лежала Мария Клементи. На ней был свободный синий халат в арабском стиле, неубранные волосы ниспадали ей на плечи. Она была бледна, казалась вялой, даже несколько измученной и все же, как всегда, прекрасной. Габриэль Мортимер в своих бордовых брюках и куртке, небрежно развалившись, полулежал в кресле. Одну ногу в блестящем ботинке он водрузил на табурет. Кудри его напояжены были не менее обычного, и цепочка от часов не уменьшилась в размерах. Он уставил свои черные порочные глаза на Марию, и меня он едва удостоил взглядом.

Рядом с камином я заметил высокую фигуру молодого мужчины, одетого в щеголеватый вельветовый пиджак темно-красного цвета. Это, как я понял, и был мистер Нотткатт. Волосы и усы у этого джентльмена были желтыми, как масло, лицо бледное, вытянутое, лишенное какого-либо выражения, а рот довольно маленький и безвольный. Одного взгляда на Джона Нотткатта мне оказалось достаточно, чтобы его невзлюбить. Передо мной стоял человек, которому богатство и положение в обществе с ранних лет дали все, что он хотел, но не могли дать того, что мы более всего ценим в жизни, — любовь и заботу родителей и преданность настоящих друзей. Этих ценностей часто бывают лишены как чрезвычайно богатые люди, так и изнывающие от бедности семьи. С самого рождения отданный под опеку слуг, которые во всем ему потакали, он привык, что любой его каприз удовлетворяется, и рядом с ним не было никого, кто был бы способен ему противостоять. Не привыкший ни работать, ни думать, не приученный к самоконтролю, Нотткатт стал человеком пустым. Скука являлась основным его врагом, а в борьбе с ней все способы и средства для него оказывались хороши. Между тем ему моя внешность понравилась не более чем мне его. Он удостоил мою запачканную одежду презрительной улыбки, которую я должен был воспринять как оскорбление.

Уиллер, впусив меня, поспешно пересек комнату, подошел к окну с тяжелыми шторами и сел к ним настолько близко, будто хотел спрятаться в их складках.

В комнате стояли тарелки и разные блюда с остатками пищи. На китайском столике находились бутылки с вином и склянка с желтоватой жидкостью, которую я принял за настойку опия. Воздух был тяжелым из-за того, что в комнате курили. По позам присутствовавших гостей можно было сказать, что все они уже давно пребывают в таком положении и уже не один час здесь не наблюдалось никакого движения. Казалось, солнце замерло на небосклоне — время перестало существовать.

Между тем никто не поднялся и не поздоровался со мной. Никто не представил меня мистеру Нотткату и не предложил мне сесть. Постояв некоторое время у двери в положении слуги, которого вызвали, чтобы дать ему какое-то поручение, я вынужден был сам прервать неловкое молчание и сказать, обращаясь через всю комнату к Аугустусу Уиллеру:

— Мистер Уиллер! Встревоженный вашими письмами, я поспешил приехать сюда из Ноттингема. Приношу извинения, что появился здесь в походной одежде, но по тону ваших писем я понял, что дело не терпит отлагательств. Я должен спросить у всех присутствующих здесь джентльменов, насколько это правильно — выводить мисс Клементи на публичное шоу в Королевском обществе. Считаете ли вы, что ее нервы выдержат подобную процедуру после всего, что вы видели на последнем сеансе? — Сказав это, я подумал о том, что полное безразличие, которое проявляла Мария, является, скорее всего, следствием употребления ею содержимого склянки.

Нотткатт, продолжавший стоять у камина, оглядел меня с ног до головы и надменно спросил:

— Кто вы такой? И какое вы имеете право вмешиваться?

Мортимер поспешно представил меня ему, но его имя назвать мне не соизволил, обращаясь со мной так, как обращался бы со слугой, который принес уголь для камина. От этого, должен вам признаться, он стал мне еще более неприятен, чем раньше. Представляя меня, Мортимер называл Нотткатта Сандором. «Что за странное имя, — подумал я про себя. — Какая нечистая история за ним стоит?»

Вся атмосфера комнаты была странной и недопустимо интимной. Казалось, что здесь собралось тайное общество, и я почувствовал себя так, будто попал на шабаш ведьм. И все же необходимо было действовать, поэтому я сказал, обращаясь к Марии:

— Мисс Клементи, говорил ли вам кто-нибудь о том сильнейшем физическом и эмоциональном напряжении, которое вам придется испытать, согласившись перенести состояние транса? Сказали ли вам о том, что вы кричали «Пожар!» и вели себя так, будто на самом деле горите? Довел ли до вашего сведения вот тот джентльмен, который сейчас прячется в углу, вжимаясь в него так, словно он хочет раствориться в стене, — довел ли этот джентельмен до вашего сведения, что он уже дважды писал мне на прошлой неделе, и писал о том, что боится провести с вами еще один сеанс, да к тому же перед аудиторией, ведь вы окажетесь беззащитной перед огромной толпой мужчин и женщин? Подумайте, мисс Клементи, на что вы даете согласие. Заклинаю вас, подумайте!

Я напрасно так распылялся. Если после первого вопроса Мария кивнула мне с безразличным видом, то в ответ на остальные она, продолжая лежать, сделала ленивое движение — такое, будто хотела пожать плечами. Ждать от нее было нечего. Я почувствовал, в каком глупом положении оказался, и еще больше разозлился на Уиллера, который вызвал меня сюда, а теперь не принимает никакого участия в разговоре по той причине, что боится навлечь на себя недовольство Нотткатта.

— Уиллер! — прокричал я тогда. — Неужели вы готовы подвергать риску здоровье этой женщины, неужели позволите ей пройти через такое публичное унижение?

Несколько секунд он смотрел на меня, но затем перевел взгляд на Габриэля Мортимера, который недовольно нахмурился. Никто из присутствовавших в комнате — ни празднично наблюдавшие за всем мужчины, ни безразлично лежавшая женщина — не сделал ни единого движения. В пристальном взгляде Нотткатта появилась угроза. Еще немного, и он позовет

служу и прикажет выпроводить меня вон. Подумав о том, что подобного позора допускать не стоит, я ушел сам, к чему присутствующие выказали полное безразличие.

Выходя, я проговорил:

— Я пойду к Хампфри, президенту Королевского общества, и изложу ему суть дела. Я скажу ему, что это представление (иначе его и не назовешь!) необходимо отменить.

— Делайте что хотите, — буркнул Нотткатт таким тоном, будто отпустил замечание насчет погоды за окном.

Я вышел из комнаты, чувствуя себя полным идиотом, которого только что выставили за дверь. Уиллер, вызвавший меня в Лондон специально для того, чтобы я защитил его от тех двоих, принял их сторону, и даже Мария из каких-то непонятных соображений готова была участвовать в этом шоу. Может быть, ее запугали, или причиной тому явилось ее непомерное тщеславие? Понять этого я не мог.

Сэр Хампфри Дэви, которого мы, владельцы угольных месторождений, имеем все основания восхвалять и которому я имел честь быть представленным, будучи еще мальчиком, в это время находился не в Лондоне. Однако меня направили в дом другого члена сего высокочтимого общества, который, как меня заверили, мог быть мне полезен.

Этот джентльмен, мистер Пломер (увы!), сказал мне именно то, чего я и ожидал: уже было разослано много приглашений, и люди их приняли; согласились приехать и те, кто живет довольно далеко. Теперь уже невозможно вовремя проинформировать всех приглашенных, что демонстрация сеанса мистера Уиллера отменяется. Тогда я сообщил ему, что Мария Клементи, вероятно, знает некоторые подробности этого ужасного нападения на мистера Франкенштейна и что возможность дачи свидетельских показаний и была одной из причин, побудивших прибегнуть еще к одной попытке восстановить ее речь. И если она выложит всю информацию в открытую перед публикой, то присутствующие в зале дамы могут испытать слишком сильное потрясение, а кроме того, давать свидетельские показания против злостного преступника подобным способом явно нежелательно. Не исключено, что он сам будет при этом присутствовать. Мистер Пломер только покачал головой, проговорив при этом самую безнадежную фразу: «Как жаль, что я не знал об этом раньше!»

Наука — дама безжалостная. Ей не важно, что тебя трясет лихорадка, что ради нее ты перестаешь считаться с Божественными законами. Выполняя ее капризы, один человек может ограбить другого, разорить его дом и разрушить семью. Однако пристойность не уступает науке в суровости. Я доказывал, что нахожу крайне неприличным, чтобы мисс Клементи, молодая женщина, была подвергнута столь суровому испытанию перед огромной аудиторией и во время этого с ней не было бы ни единого человека, желательно ее же пола, который мог бы, если понадобится, оказать ей поддержку. Это заставило моего слушателя задуматься.

Пломер, явно встревоженный моим последним заявлением, проговорил:

— Гуделл, я не знаю, обоснованны ли ваши подозрения по поводу демонстрационного сеанса мистера Уиллера (хотелось бы мне надеяться, что вы ошибаетесь!) или нет, но приглашения уже разосланы, и изымать их — увы! — теперь нет времени. Так что придется все оставить как есть. Однако тот факт, что у мисс Клементи нет подходящей помощницы, очевиден. Не могли бы вы кого-нибудь подыскать?

На это предложение я сразу же согласился. Я вернулся на Грейз-Инн-роуд с убеждением, что, будь на месте Пломера сэр Хампфри, дело получило бы более благоприятный оборот. Я подумал, что, если бы приглашенные на демонстрацию были

простыми служащими или прачками, а не представителями высшего общества, все можно было бы остановить. Но в данной ситуации выхода не было. Действие произойдет, если никакие чрезвычайные обстоятельства его не остановят.

Почувствовав сильную усталость, я вернулся в дом миссис Доуни. Мое прибытие порядком обескуражило слуг, которые в отсутствие хозяев жили в свое удовольствие. Я сел и принялся составлять письмо к миссис Джакоби, чей адрес в Четхэме моя предусмотрительная Корделия записала перед тем, как эта леди отправилась к холодному очагу своей сестрицы. В письме я упрашивал миссис Джакоби забыть обо всех прошлых неприятностях и приехать опять, чтобы в последний раз оказать помощь своей бывшей подопечной. Я писал, что опасаюсь за мисс Клементи, ибо она попала в руки злых людей. Я обрисовал ей в красках не внушающий доверия союз Уиллера, Мортимера и Нотткатта, написал, как мисс Клементи, находясь в трансе, кричала о пожаре. И теперь певице предстояло повторить этот опасный эксперимент, но уже на публике. Я просил миссис Джакоби приехать из Четхэма в Лондон как можно быстрее (расходы я беру на себя).

Мне казалось, что мои просьбы вряд ли будут услышаны. А вдруг миссис Джакоби не окажется дома. Но даже если она будет на месте и получит мое письмо вовремя, то не исключено, что она останется верной своему первоначальному решению не встречаться более с Марией.

И все-таки я постарался отправить свое послание как можно быстрее, не оставляя надежды, что миссис Джакоби подоспеет вовремя.

В верхней части дома проходила генеральная уборка — там было совсем холодно, так как помещение здесь уже давно не отапливалось, — поэтому я сказал слугам, что буду спать в гостиной. Я велел затопить там камин, сбросил грязную одежду и попросил приготовить обед и горячую воду.

С наступлением вечера я отправился в горестный дом на Чейни-Уолк, который стал выглядеть немного гостеприимнее с приездом родителей Виктора. Однако два охранника по-прежнему дежурили внизу в гостиной.

Миссис Франкенштейн оказалась высокой приятной женщиной. Вид у нее был очень усталый, ибо, несмотря на ее неустанные заботы, состояние здоровья ее сына не улучшалось. Она сердечно меня встретила и провела в маленькую комнату на первом этаже, в которой сама расположилась. Миссис Франкенштейн рассказала, каких усилий ей стоило прекратить визиты мисс Клементи к Виктору. Однажды Виктор, собрав последние силы, прошептал: «Мама, она меня убивает». Конечно, она спросила меня о характере отношений ее сына и Марии Клементи, и я в нескольких словах поведал ей о той неодолимой страсти, которую Виктор испытывал к этой актрисе еще до убийства его жены. Мне также показалось, что я должен рассказать ей о тех усилиях, которые предпринимаются для того, чтобы вернуть Марии способность говорить, ведь именно благодаря этому у нас еще теплится надежда на то, что она сможет сообщить какие-то факты о нападении на Виктора. Миссис Франкенштейн выказала к этому живой интерес и поинтересовалась, не могли бы они с мистером Франкенштейном посетить демонстрационный сеанс в Королевском обществе. Я сказал, что напишу об их просьбе и попрошу два места, что вслед за этим и сделал, а слуга отнес мою записку.

Тогда-то мать Виктора и заговорила об одной вещи, которая меня чрезвычайно удивила и встревожила, причем она упомянула о ней, как о чем-то давно мне известном.

— Он очень страдает из-за смерти жены и ребенка, — сказала она. — И я боюсь, что

это горе чрезвычайно мешает его выздоровлению. Иногда в бреду он произносит имя своей первой жены, своей любимой сводной сестрицы, с которой он вырос.

Я не мог скрыть выражение чрезвычайного удивления, появившееся на моем лице при этих ее словах. Виктор никогда не говорил мне, что был раньше женат. Миссис Франкенштейн заметила мое удивление до того, как я смог его скрыть, и обратилась ко мне с вопросом:

— А вы не знали о первой жене Виктора, Элизабет Лавенгроу?

— Нет. Хотя, возможно, я просто забыл, — ответил я невпопад. Очень странно, что Виктор никогда не упоминал о своей первой женитьбе.

Миссис Франкенштейн смотрела на меня с несколько озадаченным видом: трудно было представить, как это человек мог начисто забыть о том, что его друг был женат, — хотя не исключено, что это мне только показалось. Увы! То, что она сказала затем, меня еще более встревожило.

— Бедный Виктор! Под какой несчастной звездой он родился! Как может человек вынести такое страшное горе дважды? Как может человек дважды прийти в себя после таких тяжелых переживаний, какие выпали на его долю? Две жены, и обе убиты!

Обе убиты... Голова у меня наполнилась гулом. Мне показалось, что силы сейчас оставят меня. Наверное, при этом я выглядел довольно странно, так как миссис Франкенштейн, заглядывая мне прямо в лицо, спросила, не заболел ли я. Я действительно почувствовал себя неважно. После того как я узнал, что Виктор столь многое скрывал от меня, от всех нас, у меня не хватило духу отправиться к нему наверх как ни в чем не бывало.

Я кое-как добрался до Грейз-Инн-роуд, повалился там в кресло, поставив рядом с собой на столике бутылку бренди, и провел остаток вечера, размышляя над теми фактами, которые нечаянно раскрыла мне мать Виктора Франкенштейна. Вселенная вращалась передо мной — вращалась вначале не из-за бренди (хотя впоследствии, возможно, именно из-за него). Затем, устало раздевшись, я погрузился в глубокий, полный дурмана сон. Моя последняя мысль перед сном была той же, что возникла у меня, когда миссис Франкенштейн произнесла те странные слова. Как мог человек, друг, скрывать ото всех, что был женат во второй раз и что первую жену его убили? Он мог молчать об этом первое время по той причине, что ему больно было упоминать об этом. И все же потом, когда произошло убийство его второй жены, как мог не вспомнить он о первом своем несчастье? В таком поведении было что-то противоестественное, если только... Думать так я не имел права, но любому человеку на моем месте пришла бы в голову подобная мысль: если только на нем самом не лежала ответственность за оба эти преступления!

Только благодаря утреннему галопу и всем тем делам, которые переделал я за сегодняшний день, — конечно же, и бренди сыграло свою роль, — мне удалось заснуть в ту ночь. На следующее утро я был разбужен приездом миссис Джакоби, которая получила мое послание еще вчера и с рассветом отправилась в дорогу из Четхэма.

Укутанная в многочисленные одеяния, она в дороге все же промерзла до костей. За стаканом подогретого вина она поведала мне следующее:

— Видит Бог, я не хотела сюда ехать, мистер Гуделл. Вчера ночью я глаз не сомкнула. Мне кажется, грядет какое-то несчастье. Произойдет что-то ужасное, я в этом уверена. Я бы и не приехала, если б не сознание того, что ситуация сложилась таким образом не без моего участия, и теперь я вижу свой долг в том, чтобы присутствовать при этом, увидеть, как все разрешится, и тем самым избавить себя от чувства вины. — Сказав это, она раскинула руки и

запричитала: — О, Господь! Милостивый мой Господь! Я способствовала греху! О Боже, Боже! Услышь меня и прости! Я была пособницей Сатаны! Господи! Прости меня! Прости!

Я смотрел на это излияние чувств с некоторым ужасом. Я тогда не очень-то верил (как, собственно говоря, не верю и сейчас) в шумные публичные покаяния, рыдания и провозглашения верующих. Со временем я, вероятно, стал более внимательным и прилежным в исполнении религиозных обрядов, но и сейчас, а тем более тогда, я не испытывал к ним особой тяги. Миссис Джакоби, после того как она оставила службу у Марии Клементи, заявила, что она должна искупать свою вину, однако подобное раскаяние, подхваченное ее бескомпромиссной сестрой, расцвело очень уж пышным и даже, я бы сказал, слишком экзотическим цветом. Мне более по душе была прежняя, сдержанная миссис Джакоби, и я засомневался в том, сможет ли она в своем теперешнем состоянии быть в деле, никак не связанном с церквями Четхэма, столь же полезной, какой была ранее.

— Выпейте еще горячего вина, миссис Джакоби. Завтрак сейчас принесут, — единственное, что смог сказать я после ее речи.

Она строго посмотрела на меня и проговорила:

— Обратитесь к нашему Создателю, мистер Гуделл. Вы, я, Мария Клементи — все мы нуждаемся в Его помощи. Вы веруете, мистер Гуделл?

До сих пор занятый своими странными подозрениями на счет Виктора Франкенштейна и озабоченный предстоящим трудным днем, я ответил напрямик:

— Я пригласил вас сюда, миссис Джакоби, и счастлив, что вы приехали. Однако позвольте мне быть откровенным до конца. Если вы непрестанно будете обращаться к Создателю и передавать в Его руки то, что мы должны сделать своими руками, то лучше вам отправиться обратно в Четхэм.

Эти слова несколько отрезвили миссис Джакоби.

— Конечно же, я помогу вам, — сказала она. — И все же я боюсь того, что нас ждет.

— Тогда вам лучше поесть как следует и немного отдохнуть, так как мы должны быть готовы к решительным действиям, — сказал я, и в этот момент внесли завтрак.

Вдова служащего внял разумному совету. Я повеселел, услышав ее слова:

— Из вашего письма я заключила, что лучше, если б Мария вообще отказалась в этом участвовать. Тогда предлагаю пойти к ней, и, если мне удастся остаться с ней наедине, я попытаюсь убедить ее отказаться от сеанса. Вы знаете, где ее можно сейчас найти?

Я сказал, что Мария отменила все представления в театре, поэтому там ее искать бесполезно. Она может быть на Рассел-сквер или у Нотткатта на Гросвенор-сквер.

— Ну что ж, поеду туда, — сказала эта добрая женщина. — Попытаюсь найти ее по одному из этих адресов и предотвратить это отвратительное зрелище.

Наскоро перекусив и еще несколько раз обратившись к своему Создателю, она собралась с духом и отправилась из дому с чрезвычайно воинственным настроением.

Я зашел в «Вояджерз-клуб» выпить кофе и просмотреть газеты. К несчастью, они уже писали о предстоящем сеансе Уиллера в Королевском обществе. Я искренне надеялся, что миссис Джакоби удастся уговорить Марию отказаться от участия. Если же у нее ничего не получится и сеанс состоится, одному богу известно, к какому результату он приведет. «По крайней мере, — подумал я, — к концу сегодняшнего дня все будет позади, и я отправлюсь назад, в Ноттингем. Каков бы ни был результат, я не могу допустить, чтобы это мероприятие задержало меня в Лондоне. А если я такое допущу, Корделия перестанет верить мне и моим обещаниям. Да, она меня любит. В этом я не сомневаюсь. Но у нее есть гордость и чувство

собственного достоинства, и она не потерпит оскорбления, даже от меня. Кажется, ее покойный муж был не очень-то простым человеком, и она вряд ли захочет еще одного непутевого супруга. Наверняка она подумает, что если уж человек не может вести себя достойно, ухаживая за ней, то он едва ли изменится к лучшему, став ее мужем. А что будет со мной, если она подумает, будто я остался в Лондоне, потому что поддался чарам Марии Клементи? Что за судьба меня ждет, если Корделия меня отвергнет, если я ее потеряю, закрутившись в этом мрачном, таинственном мире, на этой темной стороне луны?»

Когда я вернулся домой, миссис Джакоби уже была на месте. Ее поиски прошли безрезультатно. На Рассел-сквер ей сообщили, что Марии там не было вот уже несколько дней. На ее вопрос в доме на Гросвенор-сквер ответили, что мистер Нотткатт и его друзья отправились в другую резиденцию Нотткаттов, расположенную в Ричмонде, и что приедут они только поздно вечером. До начала демонстрации едва ли оставалось достаточно времени, чтобы ехать в Ричмонд и искать там Марию. Я подумал, что эти люди намеренно прячут певицу, чтобы никто не смог повлиять на ее решение, и они не отпустят ее теперь, перед самым представлением в Королевском обществе. Мне оставалось надеяться только на то, что они заранее прорепетируют предстоящее действо, чтобы непосредственно во время сеанса не произошло ничего особенно неприличного. Однако и этой моей надежде, увы, не суждено было сбыться.

15

Во второй половине дня довольно быстро стемнело, и многочисленные огни, зажженные в большом зале Королевского общества, заливали светом величественную и модную публику. Мы с миссис Джакоби прибыли заранее, однако нам все равно с трудом пришлось прокладывать себе путь к сцене через гудевшую толпу, заполнившую все проходы. Многие уже сидели на узких, изящных стульчиках. Впереди располагалось возвышение с двумя креслами посередине. Перед тем как прийти сюда, мы еще раз зашли в дом Нотткатта, предприняв последнюю попытку найти Марию и переговорить с ней, однако нам ответили, что группа, отправившаяся в Ричмонд, еще не вернулась. И вот мы оказались частью огромной аудитории, состоявшей из седобородых знаменитостей, разодетых в шелка дам с веерами, политиков, щеголей, профессоров, мужчин и женщин высокого ранга и высокого положения. Здесь также сидели притихшие родители Виктора, мистер и миссис Франкенштейн. Когда мы добрались до первых рядов, миссис Джакоби указала еще на одну пару.

— Это родители Нотткатта, — сказала она, — вот они, сидят в первом ряду. Они тихие люди, которые давно живут за городом. Я не ожидала, что встречу их здесь.

— Остается только надеяться, что на этом балагане не произойдет ничего такого, что было бы противно их натурам, привыкшим к спокойствию сельской жизни, — ответил я.

С одной стороны зала стояло роскошное сиденье, на которое усадили прибывшую Марию Клементи. На ней было простое кремовое платье с накидкой, на голове — маленькая, низко надвинутая шляпка. Рядом с ней сидел Аугустус Уиллер в строгом черном пиджаке и брюках. Нотткатт стоял возле Марии, прислонившись к стене, а впереди сидевшей пары стоял Габриэль Мортимер, на этот раз в облачении более скромном, чем обычно, хотя, когда он обернулся ко мне с приветствием (или, скорее, для выражения недовольства), я увидел в его галстукке огромную булавку с бриллиантом величиной с

горошину. За этими господами собрался второй круг приближенных — своего рода вторая орбита, в центре которой находилась певица. В этом кругу каждый старался вставить свое слово, поймать взгляд Марии, каждый пытался понять, что за событие ждет их сегодня. Все это было похоже на одно из тех массовых мероприятий (только в несколько смягченном варианте), столь любимых французами, когда в центре внимания оказывается знаменитость со скандальной репутацией.

Мы с миссис Джакоби добрались все-таки до места, где известные научные светила беседовали с Уиллером. Две леди в шелках и индийских шالях наклонились над Марией, обращаясь к ней с вопросами. Она смотрела прямо перед собой, никак не показывая, что замечает их присутствие. Они относились к этому терпимо, списывая все на ее немоту. Уиллер заметил меня, но не увидел миссис Джакоби, которая стояла немного позади. Он чрезвычайно удивился моему появлению и даже прервал разговор с какой-то важной персоной. Гипнотизер поспешно поднялся, видимо, для того, чтобы привлечь внимание Габриэля Мортимера, и тот действительно обернулся, но произошло это, когда мы с миссис Джакоби уже находились рядом с ними. Стоявшие около Марии дамы тоже выпрямились и, повернувшись, услышали, как Мортимер со злостью проговорил мне:

— Что это вы здесь делаете, Гуделл? А вы, Ребекка? Ваше присутствие здесь крайне нежелательно!

Ответила ему миссис Джакоби:

— Для вас, возможно, и нежелательно! Но я пришла не к вам. Мне необходимо поговорить с Марией.

Мортимер больше ничего не сказал, а только свирепо посмотрел на пожилую леди. Миссис Джакоби кое-как удалось оттеснить импресарио в сторону и подсесть к Марии, однако та ее практически не признавала. Женщина уверенно положила свою ладонь на руку певицы и начала что-то настойчиво ей говорить.

Нотткатт между тем продолжал подпирать стену. Он только заметил:

— О, мистер Гуделл! Вчерашний грязный джентльмен. Пришли испортить нам развлечение, как я понимаю?

Я ответил ему громко и отчетливо:

— Если вы находите, мистер Нотткатт, что хороший способ поразвлечься — это выставить немую женщину на всеобщее обозрение, то нам с вами говорить больше не о чем.

Мои слова вызвали некоторое замешательство, даже негодование окружающих. Нотткатт же едва удостоил меня снисходительной улыбкой. Тогда заговорил Мортимер:

— Гуделл, не могу понять, с какой стати вы лезете в это дело? Как я понимаю, это вы притащили миссис Джакоби в Лондон, чтобы она явилась сюда... Ваше дурацкое вмешательство только все портит!

Мне очень захотелось ударить его по лицу, а затем сделать то же самое с Нотткаттом. Но вместо этого я лишь наклонил немного голову, дабы расслышать, что нашептывает Марии миссис Джакоби.

— Мария, ты не можешь на это пойти! Это испортит твою репутацию! Это может тебе очень навредить! Разве есть у тебя основания сомневаться в том, что я пекусь о твоих интересах? А мистер Гуделл, разве ты его не знаешь?! Мы пришли, чтобы убедить тебя не принимать участия в этом демонстрационном сеансе. Подумай, что ты можешь наговорить в состоянии транса. Это безумие!

Но Мария только и делала, что прикладывала пальцы к губам миссис Джакоби, качала

головой и улыбалась. Казалось, она очень плохо себе представляет, что вообще происходит вокруг нее.

Габриэль Мортимер уже было приготовился вступить в спор, но в этот момент Нотткатт выступил вперед, взял Марию под руку и повел к первым рядам, намереваясь представить ее своим родителям. Никто не сделал попытки его остановить. Уводя Марию, он бросил язвительный взгляд на миссис Джакоби.

— Зачем она это делает? Что у нее на уме? — спросил я пожилую леди.

Та лишь покачала головой.

— Она сама хочет принять в этом участие, — ответила миссис Джакоби, — я в этом не сомневаюсь. Она на это настроилась, а раз так — ее не переубедить. Но в то же время Мария кажется какой-то странной, будто она не в себе. Раньше я ее такой никогда не видела. Габриэль, ты напоил ее каким-то лекарством? Ты же знаешь, она не переносит ни снотворное, ни возбуждающие препараты. Разве нет?

Мортимер ничего не ответил, а вместо этого направился к Марии, которая раскланивалась с родителями Потткатта. Уиллер последовал за ним.

Миссис Джакоби посмотрела на меня и вздохнула: Я сел рядом с ней.

— Все мои усилия напрасны, — обреченно сказал я. Моя соседка теперь почти не обращала внимания на происходящее. Уиллер провел Марию по трем деревянным ступенькам на возвышение и усадил ее там на одно из двух кресел. Она сидела и смотрела прямо перед собой, положив руки на подлокотники кресла. Певица выглядела чрезвычайно спокойной. Всей той силы, энергии, которая была присуща ее движениям, как не бывало.

Уиллер уселся напротив Марии, причем так близко к ней, что колени их едва не соприкасались. Шум и разговоры в зале сразу стихли, движение прекратилось. Все расселись, наступила абсолютная тишина.

— Если ее напоили лекарствами, значит, она больна, — прошептала мне миссис Джакоби.

— Может, Уиллер позаботился о том, чтобы ввести ее в транс уже перед приездом сюда, — предположил я. — Интересно, сколько же времени провела она под гипнозом за эти несколько дней?

Представление вот-вот должно было начаться. На улице становилось все темнее. При малейшем движении воздуха свечи отбрасывали причудливые отсветы. Серьезные профессора, красивые дамы, пэры и прочие господа затихли все как один. Уиллер совершил несколько пассов с кристаллом прямо перед глазами Марии и показал, что он доволен ходом эксперимента. Как я и подозревал, певицу привезли сюда уже в состоянии транса. Затем Уиллер, глядя ей прямо в глаза, сказал:

— Мария Клементи! Находитесь ли вы в состоянии транса и под моим полным контролем?

— Да, — ответила Мария чистым и ясным голосом.

— Были ли вы до этого времени абсолютно немой?

— Да, — снова повторила она. — Петь я могла, а говорить — нет.

Голос ее был низким и очень чистым. В аудитории возникло движение, раздались восклицания, послышались комментарии.

— Почему же вы не могли разговаривать? — спросил Уиллер.

Если до этого места представление, как я и предполагал, было тщательно отрепетировано в Ричмонде для того, чтобы представить почтенной аудитории гладко

отработанную версию, то далее все пошло в непредсказуемом направлении.

Из прекрасных губ Марии Клементи раздался грубый, ужаснувший всех голос, совсем не похожий на тот, которым она говорила раньше. Он теперь весьма отдаленно напоминал тот прекрасный голос, который пленил всю Европу. Он был низкий и резкий, какой-то смазанный, с непонятными интонациями и акцентом. В течение всего этого ужасного эпизода Мария переходила от одного голоса к другому, имитируя чьи-то чужие интонации, как будто не была уверена в своих собственных. И в самом деле, она не была уверена не только в собственном голосе, но и в своих мыслях, чувствах, как будто плохо представляла себе, кто она такая. И это ее непостоянство и неуверенность вызывали ужасное ощущение, которое усугублялось еще и тем, что среди голосов, которыми она говорила, был явственно слышен голос Виктора Франкенштейна.

Но сначала раздался другой, непривычный, режущий ухо голос, отвратительный и невнятный:

— Я никогда не говорила потому, что, по замыслу того, кто меня создал (черт его подери!), у меня и не должно было быть языка. Такой уж я родилась во второй раз, когда он вернул меня с того света, после того как я умерла, на том далеком скалистом острове, где холодные волны бьются о каменистые берега. Как холодно, — продолжал говорить этот голос, — о, как холодно там было...

Публика слегка зашевелилась, не в силах разобраться, было ли это хитро задуманное представление или перед ней действительно стояла обезумевшая женщина. Люди начали переговариваться. Я услышал негромкий нервный смех.

Мария уже стояла лицом к аудитории, широко расставив ноги. Во всей ее позе чувствовалось напряжение, голова была высоко поднята. Я посмотрел на Уиллера, который продолжал сидеть в кресле, — он был в растерянности. Однако опытный шоумен, умело скрывал свои чувства от публики. Представление шло не по плану. Он, видимо, надеялся, что все как-то выправится само собой или что он сможет направить действие в надлежащее русло. Но этого не случилось.

— Черт бы его побрал! — повторила Мария. Тут Уиллер вскочил на ноги.

— Мария, дорогая... скажи мне правду... — сказал он, однако просьба его утонула в потоке ее слов: она продолжала говорить, на этот раз голосом маленькой девочки, ребенка, и теперь уже на французском.

— Первое, что я запомнила, — это свет, — рассказывала она. — И я вышла из темноты на свет... Холодно, очень холодно... — И вдруг она заговорила по-другому, очень приятным голосом низкого регистра, который (увы!) был очень и очень похож на голос Виктора Франкенштейна. — Потом я увидела склонившееся надо мной темное лицо. Лицо любовника, лицо того, кто меня создал. Лицо Виктора, который любил меня, потому что это он меня создал. Создал, потому что любил.

То неразборчивое лепетание, с которого Мария начала свой рассказ, вернулось вновь. Казалось, будто это голос пьяницы, разразившегося пьяной тирадой.

— Я знаю, что сделал этот злодей! Он взял того другого, которого он тоже создал, моего любимого, моего Адама, и стал бить его и держать в заточении, а потом увез его, увез далеко, совсем далеко, в какую-то пустыню, и оста вил там одного. А я все равно знала, где он... Адам, мой милый Адам... Всегда знала, где он, знала, какую боль он испытывает. С того самого мига, как я открыла глаза на этом далеком острове и увидела лицо того, кто меня создал, я уже знала, где мой Адам, я всегда чувствовала, далеко он или близко. Будь

проклят этот Франкенштейн! Будь он проклят!

Уиллер, стоявший теперь рядом с Марией, старался ее остановить. Но она продолжала, теперь уже злобно имитируя голос Виктора:

— Я дал тебе жизнь, моя дорогая, и тебе суждено было стать подругой и невестой другого моего создания, но он тебя не получит. Ты будешь моей.

Какая-то женщина в зале пронзительно закричала. Один мужчина поднялся на ноги и воскликнул:

— Ересь! Что за ересь она несет?!

Голос его затерялся в шуме других выкриков. Затем все перекрыл еще один пронзительный крик женщины. Я подумал о родителях Виктора, которые сидели в этой толпе и слышали всю ту клевету, которая звучала сейчас в адрес их сына.

Обернувшись, я увидел, что они неподвижно сидят на своих местах и на лицах их застыл ужас. Я посмотрел на миссис Джакоби. Она сидела, прикрыв рот рукой, и шептала:

— Неужели это правда? Разве может все это быть правдой?

Я схватил ее за руку. Она пребывала в оцепенении.

— Помогите мне остановить все это! — обратился я к ней.

Мортимер тем временем тянул женщину за другую руку, стараясь поднять ее на ноги. Он понял, что у Уиллера неостановимо смелости справиться с тем ужасом, который он сотворил (Мария при этом продолжала изливать на нас потоки слов), и нам надлежало как можно достойнее (если о каком-то достоинстве могла здесь идти речь!) выйти из сложившейся ситуации: взять Марию и увести ее отсюда. Однако ее ужасный монолог тем временем продолжался.

Правду говорила она или нет? Было ли это результатом ее длительного молчания или выходом сдерживаемых до этой минуты галлюцинаций, перешагнувших в конце концов через границы разума, хлынувших на простор и затопивших всех нас? А может, все это было правдой?

Движение среди публики продолжалось. Некоторые уходили из зала. Раздался крик какого-то мужчины:

— Неужели никто не может это прекратить? Возникла опасность, что люди набросятся на Марию или на Уиллера, а возможно, и на обоих. Она вновь заговорила, и на этот раз у меня не было никаких сомнений, что я услышал голос Виктора. Он звучал низко и глухо:

— Дорогая моя, любимая! Я не хочу причинить тебе боль. Но теперь ты моя... Моя навеки! О любовь моя, прости!

— Что же это творится! — воскликнул я и потянул за руку бывшую компаньонку певицы. — Встаньте, миссис Джакоби, помогите мне прекратить это сейчас же!

Но миссис Джакоби не сдвинулась с места. А Мария продолжала, на этот раз снова чистым и ласковым голосом:

— Он бил моего возлюбленного. Он непрестанно избивал его, держал его в холоде и темноте. Он говорил, что я должна принадлежать ему, потому что это он меня создал. Но я этого не хотела. Я ничего не знала, не знала самую себя. Знала только одно: не хочу принадлежать ему. Поэтому он и увел его, моего Адама, и много-много дней и недель держал его в цепях на корабле, отплывавшем к дальним берегам. А потом он был очень добр ко мне... он, мой создатель... и я привыкла к нему, потому что он кормил меня, и заботился обо мне, и старался сделать так, чтобы я его полюбила. Он сказал, что он мой бог, и я должна его почитать и любить... Но я все равно желала настоящей любви, любви человека,

для которого он меня создал. — И тут голос ее стал жестким и грубым. — Он дал мне что-то выпить, и я заснула. А потом начался пожар, большой пожар. — Она резко закричала: — Горим! Горим! Дверь не открыть! Это он ее запер. Тот, кто меня создал. Но где же он, мой создатель? Спаси меня! Спаси! Лицо его за окном. Он смотрит, как я горю. Смотрит, как я горю! — Мария задрожала и закрыла лицо руками.

В зале раздался крик. Какой-то джентльмен уронил стул, выводя из зала даму. У возвышения, на котором стояла Мария, собралась целая толпа. Певица выпрямилась.

— Я оказалась совсем в другом месте, — продолжала она. — Там меня били и выгоняли на улицу — требовали, чтобы я им пела. Говорить я не могла. Ничего не могла сказать. Не знала слов. Виктор оставил меня без слов.

Какой-то джентльмен уже стоял на сцене и возмущенно обращался к Уиллеру. Но тот продолжал беспомощно сидеть на стуле, обхватив голову руками. Я поднялся, около меня стоял Габриэль Мортимер. Мы взялись за руки и пошли вперед, к Марии, готовые прорываться через толпу, если это потребуется. Я успел схватиться другой рукой за миссис Джакоби и теперь тащил ее за собой. Так мы подошли к Марии, а она тем временем продолжала:

— Я все-таки отыскала слова, хоть и не могла произнести их. Они появились из пустоты, из ничего, потому что и сама я была ничем. У меня не было начала... был только Виктор... и какие-то тени в моем сознании... Просто тени, поле и мать... улицы большого города, какой-то человек... и темная вода, которая затягивает меня куда-то вниз.

Мы все: Мортимер, миссис Джакоби и я — остановились на подмостках, так как Мария вытянула вперед руки, будто она была режиссером всего этого действия. Затем она произнесла своим ясным и чистым голосом, как будто вняв наконец голосу разума:

— И вот вы, лорды, леди и джентльмены, теперь меня слышите. Я говорю, но все равно я — ничто. Виктор Франкенштейн сотворил меня из ничего. Он попытался меня убить, потому что я — ничто. А теперь я разрушила всю его жизнь, разрушила его семью, работу и его самого. Да, он скоро умрет.

Тут она залилась смехом, легким и веселым, как будто кто-то произнес милую шутку. Но смех этот становился все сильнее и сильнее, он был все менее контролируем, а мы с Мортимером, увлекая за собой миссис Джакоби, тем временем поднялись на сцену. Пожилая леди вдруг оттолкнула мою руку и бросилась к Уиллеру со словами:

— Прекрати это! Останови сейчас же! Что ты с ней делаешь?!

Но он только повернулся к ней и ответил странным, каким-то гортанным голосом:

— Я с ней ничего не сделал. Это она... посмотрите, что она сделала со мной!

Тем временем я схватил Марию за руку, крикнул миссис Джакоби: «Идемте!» — и мы, проталкиваясь через толпу, увлекли певицу к двойной двери в конце помещения и смешались с толпой, выходящей из зала. Я, насколько позволяла ситуация, осматривался, пытаюсь найти глазами родителей Виктора, но в царившей неразберихе сделать это оказалось невозможным. Пока мы с трудом прокладывали себе дорогу через толпу, находились такие, кто, увидев рядом Марию, с ужасом шарахались в сторону. Однако в большинстве своем те, кто последовал за нами, толкались и выкрикивали вопросы: «Это правда? Все так и было? Что же произошло на самом деле?»

Нам все-таки удалось каким-то образом миновать двери, и тут, прямо у входа в зал, мы увидели высокого худого человека в черном, не потерявшего присутствия духа и, как оказалось, готового помочь нам в сложившейся ситуации. Он быстро взял меня за руку и

спокойно и уверенно повел нас всех за собой. Мы с Марией и миссис Джакоби прошли еще через одну комнату, затем, быстро проскочив в какую-то дверь сбоку, пошли по пустому коридору. Мортимер куда-то исчез: по-видимому, толпа его оттеснила, хотя не исключено, что он отстал намеренно. Проведя нас по коридору, незнакомец указал еще на одну дверь, через которую и вывел нас троих в узкий переулок.

— Ну вот мы и ускользнули от них, хотя боюсь, что не надолго. Я возьму экипаж, — сказал он и поспешно удалился. Мы остались в темном, холодном переулке, однако наш спаситель вскоре появился, как и обещал.

Единственное, о чем я мог сейчас думать, — как бы поскорее исчезнуть и оказаться подальше отсюда. Мы не стали показываться на улице у главного входа. Там могли собраться те, кто только что присутствовал на сеансе. Сдержанно ли поведут себя эти люди или станут открыто выражать недовольство — предсказать было невозможно. Наверняка среди них имелись и такие, кто принял заявление Марии о том, что она погубила Виктора Франкенштейна, как признание в совершенном убийстве (хотя, возможно, так оно и было). По этой причине они могли взять ее под стражу, а заодно меня и миссис Джакоби в качестве соучастников. В конце концов, на нас могли напасть просто из страха или из неприязни. Пока мы ждали, миссис Джакоби немного пришла в себя и обратилась к бывшей подопечной в своей привычной невозмутимой манере:

— Ты говорила правду, Мария? Или все сказанное тобой было злой выдумкой?

Певица ничего не ответила, так как к этому времени уже подошел экипаж, и облаченный в черное джентльмен, посланный нам во спасение, высунулся оттуда и проговорил:

— Умоляю вас, садитесь быстрее!

Мы так и сделали и сразу же помчались в направлении, которое, похоже, заранее было выбрано незнакомцем и согласовано с возницей. Мы с миссис Джакоби сидели по обе стороны от Марии, а незнакомец — напротив. Человек этот, как я теперь мог рассмотреть, был приблизительно лет тридцати пяти. На удлинённом лице его, приятном и умном, виднелись следы оспы. Его довольно длинные волосы прикрывали уши. Взгляд темных глаз располагал к доверию.

— Сэр, я благодарен вам за помощь, — сказал я. — Могу я узнать, куда мы направляемся и почему вы решили нам помочь?

— Меня зовут Симеон Шоу. Я викарий церкви Святого Михаила и всех ангелов, расположенной вблизи Спитал-филдз. Если в том, что рассказала эта молодая дама, есть хоть доля правды, то ее слова позволят нам понять очень многое в вопросах, касающихся души.

Я почувствовал, как сидевшая рядом со мной миссис Джакоби тяжело вздохнула. Силы пожилой дамы были на исходе, а ее диалог с собственной душой и вовсе утих.

— Думаю, сэр, нам лучше отправиться сейчас на Рассел-сквер, — сказала она. Затем, обернувшись к подопечной, добавила естественным и спокойным тоном: — Мария, тебе бы хотелось поехать домой?

Миссис Джакоби никак не показала своего удивления, когда молодая женщина голосом усталым и безразличным, но все же чистым и приятным ответила:

— Это слишком опасно. Скорее всего, там соберется толпа, которая может наброситься на меня и растерзать как ведьму или убийцу.

Я со своей стороны был крайне изумлен. Если Мария находилась в трансе, как же

теперь она могла помнить то, что говорила? Однако миссис Джакоби сухо ответила:

— Я очень рада, Мария, что обретение голоса никак не изменило твою натуру. Ты всегда думаешь в первую очередь о себе.

Мария на это ответила:

— О ком же еще я могу думать? Теперь-то вы знаете мою историю. У меня нет совести и нет души.

Симеон Шоу поспешно прервал этот необычный диалог.

— Я пришел сегодня на демонстрацию, заинтересовавшись вопросом, можно ли с помощью гипноза обнаружить в человеке душу, ибо мне известно, что, находясь в состоянии транса, человек может стать ближе к Богу. То, что я услышал, мисс Клементи, очень сильно меня заинтересовало. Я не уверен, что понял суть происходящего: был ли это отрепетированный заранее номер, выдумка в стиле ужасов или что-то иное. И все же я озадачен, ошеломлен! Я чувствую, что за этим скрывается какая-то тайна и что в вашем рассказе есть доля правды.

— Дьявольской правды, если говорить точнее, — резко вставила миссис Джакоби. — Как я понимаю, обязанность священника состоит в том, чтобы бежать от подобных вещей, а не бросаться к ним с распростертыми объятиями. Ты помнишь все, что говорила, Мария? Каждое слово свое помнишь?

Но молодая женщина не отвечала. Я чувствовал ее тело рядом с собой. Оно казалось каким-то обмякшим, как будто она была больна. Как часто рисовал я в своем воображении эту картину: Мария Клементи рядом со мной. И вот это произошло, но произошло при таких обстоятельствах, что я сам плохо понимал, о чем я думаю и что чувствую. А миссис Джакоби тем временем продолжала:

— Пойми, Мария, находясь под гипнотическим воздействием мистера Уиллера, ты рассказывала, что мистер Франкенштейн каким-то образом создал тебя и еще кого-то (ты называла его Адамом), что он пытался сжечь тебя заживо, а того человека отправил в какое-то отдаленное место, несомненно надеясь, что он там погибнет. И ты заявила, что ты никто и ничто, и с радостью объявила о предстоящей смерти мистера Франкенштейна, а затем смеялась над ним, как смеются маньяки. Мария, мы должны все разъяснить.

Ответа на это не последовало. Я понял, что молодой женщине нет до нас никакого дела, безразлично ей было и то, что произошло с ней этим вечером. Казалось, что она свалилась на нашу планету с Луны.

— Рассказ Марии, — сказал я, — полностью соответствует тому, что сообщил мне Дональд Гилмор, который мальчиком жил на Оркни, на этой окруженной со всех сторон морем, далекой и унылой земле — как раз такой, какую описала Мария.

— Это подтверждает правильность ее показаний, — пробормотал себе под нос священник. Хоть он и был нашим избавителем, нравился он мне все меньше, и я почувствовал, что перестаю ему доверять. Он всего лишь ухватился за нас ради подтверждения какой-то теологической теории, касающейся человеческой души. Однако сейчас, учитывая наше затруднительное положение, уместнее было бы отложить в сторону научные изыскания.

Мы между тем продолжали путь. Мария откинулась на спинку сиденья, веки ее дрожали, как бывает при обмороке.

— Куда мы едем, мистер Шоу? — спросил я. — Я несу ответственность за этих дам.

— В мою церковь, — ответил он.

— Нет, так не годится, — возразил я решительно. — Этим женщинам нужно согреться у камина и поесть, холодный интерьер церкви будет совсем некстати. Я благодарен вам за спасение, но боюсь, что теперь нам придется самим о себе позаботиться.

Правда, я не имел ни малейшего представления, как именно это можно было сделать. Мне казалось, что, как и на Рассел-сквер, на Грейз-Инн-роуд ехать было нежелательно. И там и здесь нас могла ждать разъяренная толпа или арест. Может, нам поискать какую-нибудь тихую гостиницу на окраине и скоротать там ночь?

Шоу высказал иное предложение.

— Если вам не хочется в церковь, я могу отвезти вас в дом архиепископа. Он позаботится о том, чтобы вам там было удобно, — я все ему объясню.

— А что тут можно объяснить? — спросила миссис Джакоби, обращаясь будто к себе самой.

Священник между тем наклонился вперед и прокричал вознице другой адрес. Экипаж свернул с дороги и покатил совсем в ином направлении.

— Душа... — начал было Шоу.

— У меня нет души, — словно во сне ответил ему голос Марии.

— Но это богохульство! — возразил священник. — Кто вам такое сказал?

— Мне сказал это мистер Франкенштейн, — ответила она и вновь погрузилась в молчание.

— Разве такое возможно? — поинтересовался Шоу.

— Франкенштейн — злодей, — заявила миссис Джакоби, — Никогда за всю свою жизнь не слышала я подобного богохульства. Мария, ты теперь можешь говорить. Так говори же! Ради всего святого, расскажи нам все, что тебе известно.

Однако то ли из-за усталости или болезни, то ли из-за упрямства Мария ничего не отвечала.

Минуты через три мы прибыли на место, въехали в ворота и остановились на мощеной полукруглой площадке перед домом. Слуга провел нас внутрь. Нас троих проводили в маленькую непротопленную комнатку. Мы с миссис Джакоби уселись на деревянные стулья, а Мария легла на массивном, выдавшем виды кожаном диване. Шоу пошел объясняться с епископом. Прошло минут пятнадцать. Становилось все холоднее и холоднее, и с каждой минутой было все более очевидно, что епископ не собирается оказывать теплого приема ни мистеру Шоу, ни всей нашей компании.

Миссис Джакоби высказалась первая:

— Епископу не нужны ни мы, ни теории о душе, коими так занят мистер Шоу. Он почувствовал, что наше присутствие грозит опасностью и церкви, и ему самому.

Вопрос теперь только в том, когда же мы окончательно замерзнем. Нам нужен огонь и пища, а Марии может потребоваться медицинская помощь.

— А еще нам непременно понадобится адвокат, — добавил я. — Что же делать? Думаю, мы должны рискнуть и поехать на Грейз-Инн-роуд, а я зайду по дороге к своему адвокату, мистеру Финборо, и оставлю ему записку. Мы должны уладить дело с признанием, сделанным Марией.

— Оно было сделано под гипнозом, а потому не имеет никакого значения, — решительно поддержала меня миссис Джакоби. Куда только подевалась набожная дама из Четхэма? Передо мной опять была практичная и обязательная миссис Джакоби. — Так что отправляемся на Грейз-Инн-роуд. Нужно же нам хоть какое-то пристанище. Когда мы

подъедем, вы должны будете выйти из экипажа на некотором расстоянии от дома и посмотреть, все ли там спокойно. Если внутри или снаружи заметите кого-то из посторонних, вернетесь и скажете нам. Тогда придется искать какое-нибудь другое место.

— Какое? — спросил я.

— Я подумаю об этом, — ответила миссис Джакоби.

Мы ушли, ни с кем не попрощавшись, и вскоре оказались на пустынной холодной улице возле собора Святого Павла. Я и миссис Джакоби поддерживали Марию под руки с двух сторон, нигде не было видно ни одного экипажа. Начал моросить дождь, и я сказал:

— Нам лучше идти, чем стоять, иначе мы замерзнем. Так мы и сделали. На Флит-стрит я оставил мистеру Финборо записку, в которой просил его срочно ко мне зайти. Его нерасторопного слугу я направил к ближайшему месту, где можно было бы нанять извозчика, а мы тем временем ждали в холле. Миссис Джакоби и я — стояли, а на единственном стуле, который находился в холле, сидела Мария.

Миссис Джакоби, посмотрев на молодую женщину, строго сказала:

— Она может говорить, когда захочет. Все это притворство.

Меня восхищал ее прагматичный подход к делу, однако я знал, да и она должна была понимать, что ситуация наша не настолько проста. Было ли рассказанное Марией бредом обезумевшей женщины, или она оказалась доведена до такого состояния действиями Уиллера? А что, если она говорила все это намеренно, для того чтобы сбить нас с толку и произвести сенсацию? Все здесь не так уж просто. К тому же у нас имелось множество интересных фактов: история Гилмора, загадочное убийство Элизабет Франкенштейн, серьезное ранение самого Франкенштейна и к тому же пропавший полужверь-получеловек, с которым я непосредственно встречался и который теперь разыскивается по подозрению в убийстве. Трудно поверить, что рассказанное Марией было плодом галлюцинаций или обманом.

Но невозможным казалось и обратное. Можно ли было, не переходя границы разумного, верить в то, что Виктор проводил ужасные эксперименты над человеческими существами? И все-таки он ведь сделал нечто такое, чем вызвал ужас у всех жителей Оркни! Но чем?

Кроме всего прочего, я волновался за Корделию. Еще с утра я представлял, как сегодня вечером отправлюсь обратно домой, и думал о том, что хорошо будет, если первую часть пути мне удастся преодолеть до наступления темноты. А вместо этого я возвращаюсь сейчас в экипаже на Грейз-Инн-роуд, еще более увязший в этом не предвещающем ничего хорошего деле.

Миссис Джакоби продолжала расспрашивать, но теперь уже более настойчиво, совсем ослабевшую Марию. В конце концов она схватила молодую женщину за плечи и стала ее трясти, повторяя:

— Говори! Плохая, злая девчонка! Ты можешь говорить, когда захочешь, — мы это знаем! Зачем ты там столько всего наболтала? Что правда, а что нет? Понимаешь ты, что теперь тебе предъявят обвинение в покушении на Франкенштейна?! Конечно, ты будешь теперь под подозрением как участница нападения! Откуда ты взялась и какое твое настоящее имя? Теперь ты должна нам все рассказать!

После этого она ударила Марию по лицу. Та никак не отреагировала, а потому за первой последовала вторая пощечина. Но тут Мария вдруг отвернулась от нее и с непонятно откуда взявшейся силой прокричала полным муки и тоски голосом:

— Адам!

Перегнувшись прямо через меня, она схватилась за ручку двери. И хотя я попытался ее остановить, она рывком открыла дверь и, перескочив через меня, выпрыгнула из экипажа. Трудно представить, чтобы кто-то мог с такой быстротой выскользнуть из моих рук, еще труднее — чтобы кто-то так просто выпрыгнул из экипажа на ходу и не упал, а приземлился прямо на ноги. Но Марии удалось это проделать.

Пока миссис Джакоби кричала кучеру, чтобы он остановил экипаж, я высунулся из двери и увидел, как Мария бежит вдоль дороги, а затем сворачивает в переулок. Я слышал, как она кричала:

— Адам! Я иду к тебе!

Потом она пропала из виду, исчезла в темноте, как испуганная кошка. Думаю, миссис Джакоби так же, как я, поняла, что шансов отыскать ее у нас практически нет. Но, несмотря на это, мы затем около часа прочесывали ближайшие улицы, я — пешком, миссис Джакоби — в экипаже.

Когда я вернулся на Грейз-Инн-роуд, меня ни капли не удивило, что там, кроме миссис Джакоби, находились два дородных человека, которых прислал из магистрата мистер Уортли. Они пожелали задать мне вопросы по поводу того, где может находиться Мария Клементи. Слова, прозвучавшие в Королевском обществе, быстро разлетелись по городу.

Мало удовлетворительного могли сообщить мы этим людям. Чтобы побыстрее от них отделаться, я высказал предположение, что Мария могла отправиться в дом на Чейни-Уолк, а миссис Джакоби, по той же причине, упомянула особняк на Рассел-сквер, театр и разные другие места. Однако ни она, ни я на самом деле не думали, что Мария направилась хоть в одно из них. Она ушла искать своего Адама, кем бы он ни был и где бы ни находился.

Люди мистера Уортли ушли, а мы еще какое-то время продолжали сидеть, думая о Марии, которая бредет сейчас в темноте, бредет прямо к своему Адаму, которого хочет найти. Миссис Джакоби сказала, что ничего о нем не знает, и добавила усталым и разочарованным голосом, что сама она приехала в Лондон по одной причине: поступить так, как подсказывала ей совесть. Однако все время ее одолевали сомнения в том, что дела, касающиеся ее бывшей подопечной, могут хоть как-то уладиться. Так оно и оказалось. Она добавила, что, поскольку сама она уже не молода, да к тому же предыдущей ночью не сомкнула глаз из-за волнений, а утром очень спешила приехать сюда из Четхэма пораньше, она хотела бы на этом завершить этот столь длинный и столь утомительный день, несмотря на то, что было всего только восемь вечера. Об этом деле она больше ничего не хотела слышать и намеревалась все как можно быстрее забыть. С моего разрешения, она собиралась подняться сейчас наверх и лечь спать, а завтра утром, как можно раньше, отправиться в Кент — хорошо, что на этот раз все хоть как-то закончилось.

После этого она с усталой улыбкой заключила, что опять окунулась в эту нечистую и недостойную жизнь, которую сама раньше вела и которую, сделав, несомненно, мудрый шаг, оставила ради того, чтобы вести жизнь монотонную и скучную, но праведную. Затем, преисполнившись добрых чувств, она добавила:

— Мистер Гуделл, вы призвали меня сюда из самых лучших побуждений, вернули меня к жизни, от которой я, раскаявшись и устыдившись, отреклась, и я не жалею. Но знайте: дело это не закончилось. Нет-нет, не закончилось. Оно опутает вас своими щупальцами и утащит прямо на морское дно. И я увидела то, что вы, возможно, так и не заметили: кроме вас, в этом деле не было ни одного бескорыстного участника. Габриэль Мортимер хорошо зарабатывал на Марии с того самого момента, как впервые услышал ее в Ирландии, и он

надеялся получить еще большие прибыли, если она заговорит. Уиллер взял ее на этот показ, чтобы продемонстрировать свое мастерство и тем самым умножить собственную славу. Это его последнее выступление можно расценивать как провал, хотя — кто знает, что скажут люди. Мир не так прост, как кажется. А Нотткатт... этот Нотткатт просто одуревшее от скуки ничтожество. Он гнался за сенсацией, а теперь, как я подозреваю, постарается отмежеваться от этого шокировавшего его родителей дела. Однако все эти люди, мистер Гуделл, включились в это дело, преследуя личную выгоду. И вы один — исключение. Я хочу сказать вам: все, что связано с Марией Клементи, так или иначе сопряжено с преступлением, безумием, вожделением. Она притягивает мужчин, опустошая не только их карманы, но и их тела и головы. Может, вина за это лежит и не на ней одной. Из того, что мы сегодня услышали (не важно, правда это была или нет), можно однозначно заключить одно: с ней когда-то обращались очень дурно. Но вы, мистер Гуделл... Джонатан, вы — невинны. Вы должны оставить это дело, пока оно не затянуло вас. Я знаю, вам не дает покоя любопытство, страстное желание узнать истину. Вам кажется, что, откройся она вам, и мир можно будет изменить к лучшему. Свет разума, думаете вы, озарит все вокруг и преобразит мир, и тогда мы будем жить как в раю. Дорогой мой, я старше вас, и уже дважды видела, как преображался мир. Один раз во время Французской революции, второй — при императоре Наполеоне. И это второе преображение сделало меня вдовой. Я не люблю великих преображений и не имею ни малейшего желания вновь стать их свидетельницей. Оставьте все как есть, мистер Гуделл. Пусть все идет как идет. Поезжайте в деревню, живите со своей замечательной молодой женой, возделывайте землю и заботьтесь о семье, которая вас любит и думает о вас. Иными словами, растите свой сад — это лучшее, что может сделать человек. Прошу вас, не утрачивайте вашу тягу к добру и настоящей, здоровой жизни.

После того как миссис Джакоби ушла спать, я глубоко задумался. Она убежденно говорила мне все то, что я уже и сам знал, давала мне тот же совет, что давал я себе сам. Мария исчезла; не думаю, что она вернется. Я решил, что завтра навещу Виктора, посмотрю, как у него дела. Конечно же, я не буду рассказывать о том, что произошло сегодня, даже если он окажется в состоянии меня понять. А после этого мне следует как можно быстрее отправиться назад в Кеттеринг, пока я еще не потерял все, что так дорого моему сердцу.

На следующий день, в пятницу, мы распрощались с миссис Джакоби, высказав друг другу наилучшие пожелания. Я договорился о месте в дилижансе, отправлявшемся в одиннадцать часов утра на Ноттингем и перед тем, как уехать, пошел навестить Виктора.

Я застал миссис Франкенштейн в чрезвычайно подавленном состоянии. Она не очень-то рада была моему визиту, так как они с мистером Франкенштейном видели, что это я увел Марию из зала Королевского общества, а потом узнали от человека, к ним заезжавшего, что она сбежала. Они считали меня ее сообщником. «Необходимо найти Марию, — настоятельно требовала мать Виктора, — и заставить ее признаться, что все эти ужасные заявления относительно Виктора — гнусная клевета».

Однако у бедной женщины и без того было из-за чего переживать. Она сообщила, что у Виктора за ночь до этого началась сильнейшая лихорадка. Доктор не находит ничего утешительного: он говорит, что во время нападения были поражены жизненно важные внутренние органы, и теперь развивается гангрена. «Ничего нельзя сделать», — сказала

несчастливая мать Виктора, убитая горем от приближающейся смерти ее сына и не понимающая того, что происходит. Оказалось, что вчера, в три часа утра, Виктор попросил ручку, бумагу и чернила, и сиделка не посмела ему в этом отказать. С той самой минуты он сидит в кровати, обложенный подушками, страшно больной, и непрерывно что-то пишет. Его мать узнала это только днем, когда зашла в комнату посмотреть, как он себя чувствует. Увидев, чем он занимается, она стала умолять сына, чтобы тот прекратил писать. Однако он ни в какую не соглашался. Миссис Франкенштейн не решалась настаивать, хотя понимала, что это занятие отнимает у Виктора последние силы.

— Он так и сидит, — сказала она мне, — облокотившись на подушки, и все пишет и пишет. Вся кровать его завалена листами исписанной бумаги. Может, он пишет о том, как на него напали? — предположила она. — А иначе, зачем ему так много писать? Он дал мне ключи от своего стола и настоял на том, чтобы я принесла ему бумагу. Когда я отказалась, он пришел в такое возбужденное состояние, что я вынуждена была согласиться. Пожалуйста, мистер Гуделл, — обратилась она ко мне, — зайдите к нему и постарайтесь его успокоить! Уговорите его отдохнуть!

Я сказал, что сейчас же пойду выполнять ее просьбу, и поднялся наверх в комнату Виктора.

Ситуация была точно такой, как описала ее миссис Франкенштейн. Виктор сидел в подушках, невероятно исхудавший, с пожелтевшим лицом. Жарко горел камин. Рядом находилась сиделка, но она ничего не делала. Да и что тут можно было поделать! Когда я вошел, она обеспокоенно на меня посмотрела и поднялась на ноги. Повязка на голове Виктора была в пятнах, видимо, раны до сих пор не зажили. Приблизившись, я увидел на лице его капли пота. В руке он держал ручку, которая быстро скользила по блокноту, лежавшему на доске для письма, пристроенную на его слегка поднятых коленях. На его фигуру, застывшую в такой позе, больно было смотреть. Лицо Виктора и каждое его движение говорили о том, что он испытывает страшные муки. Вся кровать была завалена листками бумаги. Одни были просто исписаны, на других оказались диаграммы и химические формулы. На полпути к его кровати меня перехватила сиделка и прошептала:

— Пожалуйста, убедите его прекратить эту безумную работу.

Я кивнул и подошел ближе. Виктор посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбнулся совсем чуть-чуть, самыми уголками губ, и все же ввалившиеся глаза его были впервые за последние много месяцев спокойными. Я рад был это видеть, но страдания Виктора отзывались болью в моем сердце.

— Джонатан, — прошептал он едва слышным, сиплым голосом. — Ему тяжело было говорить, и я, подойдя ближе, понял, какого труда стоит ему каждый вздох. — Джонатан, я рад тебя видеть. Ты заберешь мои бумаги?

— Конечно же, Виктор, — ответил я.

— Здесь есть кое-какие записи по моей работе.

Я опять согласно кивнул.

— Сделай так, чтобы мои родители их не видели, — сказал он, задвигая ручкой, которую продолжал держать. — Они не должны их видеть. Никогда.

— Я за этим прослежу. А сейчас, Виктор, ты должен отложить ручку. Это тебе во вред.

— Я понимаю, но теперь я уже закончил, — сказал он. — Джонатан, мне уже ничто не поможет. Все кончено, и я рад, что это так. Потому что я сам сделал для себя мир, в котором жил; адом и не могу долее в нем оставаться. В этих записях мое завещание и мое признание.

Сохрани их, и научные записки тоже сохрани. Я сделал научные открытия, зашел так далеко, как никто до меня не заходил. Но знания, Джонатан, знания... — Эти последние слова он произносил таким голосом, каким произносит мужчина имя своей возлюбленной. Он судорожно глотнул воздух. — Собери их. Спрячь. Забери с собой, когда уйдешь!

Единственное, что мог я сейчас для него сделать, — это не заставлять его волноваться, а потому я собрал все записи и положил эту увесистую кипу в карман своего пиджака. Взяв ручку у него из руки, я убрал доску с его коленей, и он, вконец обессиливший, закрыл глаза.

Разобравшись с записями и письменными принадлежностями, я нагнулся к Виктору и попытался поговорить с ним. Смотреть ему в лицо я не мог, потому что у меня в глазах стояли слезы.

— Виктор, — проговорил я, — что бы ты ни сделал, ты расплатился за все, и расплатился сполна. Бог простит тебя. Почему бы не пригласить к тебе священника, который скажет тебе то же, что и я, и исповедовавшись которому ты облегчишь душу?

Виктор вздохнул. Каждое слово, которое произнес он после этого, давалось ему с болью.

— Ни один священник, ни один служитель церкви не сможет отпустить грехи, которые я совершил. Сам Бог не сможет этого простить. Я посягнул на Его права — а этого не следует делать ни одному человеку. Я попытался сам стать богом.

— Виктор, — взмолился я, уже не в силах удержать слезы, — как совестливый лютеранин, ты очень жесток к самому себе. К чему это самобичевание! Разве так можно?

Я упал перед ним на колени.

— Джонатан, — сказал он. — Настоящее покаяние невозможно для меня до тех пор, пока не будут уничтожены плоды моего труда, ибо моя работа принесла слишком много зла в этот мир. А этого я сделать никак не могу. Прочти то, что я написал. Прошу тебя, прочти.

— Я все прочту, — сказал я. — Конечно, прочту. Глаза его снова закрылись, и он прошептал:

— Прощай.

Дыхание моего друга стало еще более затрудненным. В этой своей физической борьбе он забыл обо мне и вскоре, как я заметил, провалился в бессознательное состояние.

— Прощай, Виктор, — проговорил я, поцеловал его в лоб и, рыдая, удалился.

Я спустился вниз. Там, у лестницы, меня ждала миссис Франкенштейн. Я не имел права показывать ей записи, давшие ее сыну такой дорогой ценой, хотя и понимал, что она имеет на них все права. Я вытер слезы, посмотрел на ее взволнованное лицо и заметил, как изменилось его выражение, когда она по моему виду поняла, что ее сын умирает.

Я сказал, что Виктор больше не пишет, что он отдал мне все свои бумаги, дабы я привел их в порядок. Я возьму все в деревню и там выполню его просьбу. На мое счастье, она не попросила оставить ей копии. В первую очередь она думала тогда о Викторе, к которому сразу же и отправилась, наскоро со мной распрощавшись.

Уже позднее я получил письмо от отца Виктора, в котором тот спрашивал меня о последних записях, сделанных его сыном. Отвечая ему, я сослался на то, что Виктор писал их в лихорадочном состоянии, а потому в его записях ничего невозможно было разобрать, а диаграммы и формулы не имели смысла. Я добавил, что посчитал возможным сжечь эти бумаги, ибо в них не было ничего ценного. «Работа, которой он занимался, — писал я, — и светлая память, которую хранят его друзья и семья, станут лучшим памятником этому ученому». Мистер Франкенштейн не ответил на это письмо.

Отказывать в просьбе отцу, горевавшему по сыну, мне было совсем не просто, но иначе поступить я не мог: ведь я обещал Виктору не показывать эти его записи никому из его семьи. Какое мог я найти оправдание, чтобы нарушить это обещание, да и к чему бы это привело? Так что, оказавшись единственным обладателем посмертного завещания Виктора Франкенштейна, я на многие годы лишился покоя.

Я отправился на Грейз-Инн-роуд, собираясь уложить свой небольшой чемоданчик и затем сесть в дилижанс, но не тут-то было. Дороги заледенели, ветер гнал снег, падавший с неба свинцово-желтого цвета, залепивший мне лицо. Я едва добрал до дома. В закрутившемся вихре я шел как слепой, чувствуя под ногами снежный покров с дюйм толщиной. У меня возникло опасение, что дилижанс не поедет по такой погоде — так оно и случилось. Когда я пришел со своей поклажей в Сити, возница, как следует укутанный, уже сидел на своем месте, на возвышении, а все шестеро коней были впряжены в экипаж и готовы тронуться в путь. Но вслед за этим возница вдруг спустился с козел, а пассажиры стали высовывать головы из окон дилижанса, требуя объяснений. Тогда возница раскричался, объясняя, что дальше по дороге, как ему сообщили из встречных экипажей, не проехать, поскольку снег там начался с раннего утра. Нет смысла отправляться в путь в такую погоду.

Я не мог не поддаться соблазну взять лошадь или нанять частный экипаж и любыми способами добраться до Ноттингема. Однако, немного поразмыслив, я понял, насколько бредовой была подобная идея. Корделия, если ей предоставить право выбора, предпочла бы увидеть живого мужа, прибывшего с опозданием, нежели его замерзший труп. На Грейз-Инн-роуд я вернулся вконец подавленным и удрученным.

И вот тогда-то, сидя в одиночестве у камина в маленькой гостиной Корделии Доуни, я отложил в сторону страницы с диаграммами и научными данными (с тех пор я на них так и не взглянул) и начал читать рассказ Виктора Франкенштейна, написанный им в тот день, который, как оказалось впоследствии, стал последним днем его жизни.

17

Я понимаю, что умираю, и убило меня то прекрасное создание, которое я сам сотворил. Понимаю я также, что неотвратимо и безвозвратно обречен я на гибель, ибо совершил непростительный грех, страшнейшее святотатство. Я посягнул на дело моего Создателя и сам создал жизнь. Я сотворил нового Адама и новую Еву. Они злы и жестоки, и они стали моим живым наказанием. О, бедная моя жена, мой бедный сыночек! Они даже не знали, что я натворил, и оба теперь мертвы, мертвы по моей вине!

Но я должен быть краток, ибо сил у меня осталось совсем мало, а значит, мало осталось и времени. Мне страшно представить, что я не смогу поведать всю правду о моей жизни, о совершенных мною грехах.

Первый человек, которого я сотворил, был жестоким, как зверь. Создал ли я его таким или он стал таким в результате моего влияния — сказать точно не могу. Как бы то ни было, но именно он стал тем существом, что восстало против меня, разрушило мою жизнь, сделав ее бессмысленной и бесполезной. Он научил меня тому, о чем я раньше не имел представления: через него узнал я, что такое горечь и потеря надежды, понял, что значит презирать самого себя.

Но после того как это произошло, я не извлек пользы из преподнесенного мне урока.

Человек более мудрый и менее амбициозный, чем я, испытал бы раскаяние и никогда вновь не стал бы заниматься ничем подобным. Я же, невежественный, решил, что смогу исправить то, что натворил, — и пошел дальше. Мне взбрело в голову, что характер его смягчится благодаря общению с другим, подобным ему существом, только женского рода. Я подумал, что под влиянием этого женского существа он станет безвредным и моя вина уменьшится. Да и сам он хотел, чтобы я сотворил ему подругу, он горестно звал ее «моя невеста». «Дай мне невесту» — так просил он меня на своем странном языке, и я принужден был в конце концов удалить его от себя и запереть в сарае, так как боялся поддаться искушению его убить.

Нельзя сказать, что он был свиреп по природе. Припадки ярости случались с ним лишь изредка, особенно если он был встревожен по какой-то причине, серьезной или незначительной — не важно. Порой Бог был на его стороне, и он вел себя покорно, задавал вопросы, жаловался и выпрашивал разные мелочи, которые я иногда давал ему и с которыми он с удовольствием играл. Глядя на его огромную звероподобную фигуру, томящуюся в заточении, на его наивную, как у ребенка, игру с деревянной лошадкой или маленькой тележкой, которые я ему приносил, и, осознавая, что это извращенное существо, этот уродец создан мной, я проникался такой ненавистью и презрением к самому себе, что и описать их здесь мне не под силу. И все же я был тем человеком, который выпустил в мир это ужасное создание, — и гордость, злая гордость не давала мне сделать то, что следовало: погубить его.

Та же гордость внушила мне мысль, что я смогу решить эту страшную проблему, создав для своего чудовища женщину. Я так много возомнил о себе, что полагал, будто смогу исправить свою первую ошибку, если направлю все силы на создание женщины для уже сотворенного мной мужчины, некой франкенштейновской Евы, которая соответствовала бы моему чудовищному франкенштейновскому Адаму.

Гордыня, это все гордыня! Эта смертоносная гордыня погубила моих жену и ребенка и теперь убивает меня!

«Сделай мне невесту! Мою невесту, мою невесту!» Даже сейчас, когда я лежу здесь, в ушах моих продолжает звучать его сердитое бормотание, как будто он до сих пор со мной сидит прямо в этой комнате. А может, оно так и есть, ведь он до сих пор на свободе, и он переживет своего создателя! Знает ли об этом он сам? Думаю, что да!

Тогда, на Оркни, живя среди бедных рыбаков, населявших тот маленький поселок, среди людей, в своем невежестве и злобе не уступавших индейцам из самых воинственных племен Америки, я решил спрятать мое чудовище и создать для него прекрасную невесту.

Человек, у которого есть деньги, может достать все, что пожелает. И вот я получил информацию о том, что где-то во Франции умерла молодая женщина, которой было всего лишь девятнадцать лет от роду, и мне могут предоставить ее тело. Как мне сообщили, она была деревенской девушкой, приехавшей в Париж, чтобы зарабатывать себе на хлеб песнями и танцами. Но в Париже ее соблазнили, она забеременела и покончила с собой. Но я до сих пор не уверен, что эта смерть стала результатом самоубийства. Узнав, что я готов заплатить за тело, мои пособники вполне могли посодействовать тому, чтобы бедная девушка умерла. Но я не задавал лишних вопросов, так как отчаянно желал продолжать свой эксперимент. Мне не терпелось обрести контроль над созданным мной чудовищем и улучшить его природу. Да, я создал человека, но человек этот был уродлив и страшен. Мне казалось, что новое творение позволит мне все исправить. И вот я, воспользовавшись услугами лодочника, жадного до золота, отплыл во Францию и вернулся оттуда с безжизненным, но абсолютно

неповрежденным телом прекрасной молодой женщины. У меня не было необходимости придавать ей форму, как в предыдущем случае, нужно было лишь воспользоваться открытой мною техникой, которую я уже успешно применял, и оживить это бездыханное тело. На этот раз я не задавался кощунственной целью, как ранее, создать человека и уподобиться Богу. Но, совершая это нечестивое дело, я насмеялся над самим Иисусом Христом, вернувшим к жизни Лазаря.

Кто-то может спросить, что плохого в том, чтобы вернуть жизнь одному из творений Божиих? Не является ли это всего лишь еще одним шагом вперед по сравнению с тем, что делает врач, поклявшийся спасти человеческие жизни? Да, именно это и сказал я тогда самому себе.

Но неудачи преследовали меня, и я рад, что покидаю наконец этот жестокий мир. Кто бы мог подумать, что через семь лет после того, как я уехал из Оркни, Дональд Гилмор, сын того самого рыбака, которого я нанимал для перевозки женского тела, окажется в Лондоне, и не просто в Лондоне, а на пороге того самого дома, в который я входил? Подумать только, он узнал меня и рассказал обо всем, что было ему обо мне известно!

Там, на Оркни, я держал свое чудище в сарае, под замком, и оттуда непрестанно раздавались его крики и рев. Я же тем временем создавал ему пару, предварительно удалив все следы ребенка, которого носила умершая женщина. И вот она стояла передо мной, живая и теплая, — жена для моего чудища. Она оказалась так прекрасна... такими мягкими были ее волосы, такой нежной кожа. О, как прекрасна она была! А по той причине, что из мозга ее были стерты все воспоминания, она вновь пришла на этот свет невинной, абсолютно невинной. Когда она вышла из бессознательного состояния, посмотрела мне в глаза (первым, что она увидела в своей новой жизни, было мое лицо) и улыбнулась мне, ее улыбка была невинной улыбкой ребенка.

В этот самый момент меня осенило — с такой остротой и силой, что даже боль прошла по всему моему телу, — что я не смогу отдать этого ангела тому зверю, который сидит в сарае. Тогда мне казалось: единственное, что он способен с ней сделать, — это убить ее. А если и не убить, то сделать себе подобной, превратить, несмотря на всю ее красоту, в такое же омерзительное создание, каким был он сам. «Она моя, — подумал я тогда. — Она принадлежит мне, а не ему!» Так один грех повлек за собой второй.

А в это время в сарае, зная, что моя работа продолжается, чудище мое ревело все громче, все настойчивее... Я вынужден был послать людей, чтобы те его успокоили, но и после этого он не затих. А я между тем только и думал о том, как обучить созданную мною женщину (которую столь кощунственно именовал я Евой). Я думал, как научить ее говорить, дать ей все необходимые знания, чтобы она могла составить мне пару. Но по прошествии всего лишь нескольких дней, еще ничего толком не понимая, она устремилась в сарай, туда, где лежал на соломе мой заключенный. Вечером мне приходилось запираť на замок двери, дабы она не могла выскользнуть ночью во двор и мне не пришлось снова находить ее в сарае, лежащую на соломе вместе с этим зверем, замерзшую и не осознающую, что она творит. Когда он кричал и звал ее, она все время смотрела по сторонам и пыталась понять, откуда раздаются эти крики, срывалась с места и пыталась убежать, убежать к нему.

Я не мог, ни за что не хотел отдать ее этому зверю. И тогда я понял, что, до тех пор пока это проклятое существо будет привлекать ее к себе, она не полюбит меня по-настоящему. Так я пришел к выводу, что мне необходимо избавиться от своего уродливого Адама, и, когда это случится, она, моя Ева, действительно станет моей. Я стал мыслить, подобно

сумасшедшему, и, как это и бывает с сумасшедшими, сам того не замечал.

Возможно, я убил бы его, но местные жители в этом диком местечке заподозрили что-то неладное. Они решили, что я занимаюсь магией, и даже Гилмор мог заартачиться и отказаться помочь мне избавиться от трупа. Но как бы там ни было, это существо создал я, и оно принадлежало мне! Однако что-то не позволяло мне разрушить свое творение собственными руками. Я уже предпринимал подобную попытку за много лет до этого. Но все окончилось иначе — он убил меня, а не я его.

Тогда я отвез его в Дублин, напоив лекарством и спрятав в деревянный ящик, и там, в Дублине, выпустил. Сказав, что он мой слуга, я предъявил ему обвинение в краже часов, и его обыскали. Часы, конечно же, у него нашли, так как я сам их ему подсунул. Я отдал его в руки местных властей, которым и предстояло решать, что делать с ним впоследствии: повесить или заключить в тюрьму. Меня мало интересовало, что они решат, ибо единственным моим желанием было избавиться от ненавистного мне существа. Он абсолютно не понимал, в чем его обвиняют и что вообще происходит, а на допросе просто стоял, гримасничая и бормоча что-то невнятное.

Когда же его уводили (его приговорили к ссылке в Австралию и пожизненному там проживанию), он тянул ко мне руки, и слезы текли по его отвратительному лицу, пока он не переставая бормотал: «Господин мой, господин!» Даже когда его волокли (а он сопротивлялся!) по коридору к месту заключения, я слышал, как он снова и снова выкрикивал все те же роковые слова: «Господин! Моя невеста... моя невеста!»

Я покинул Дублин с уверенностью в том, что его увезут и до конца дней ему суждено будет прожить на другом конце земли. А это значило, что если он и не умрет в том негостеприимном краю, то уж определенно никогда больше не вернется в Европу. Увы! Уродливый и слабоумный, он оказался чрезвычайно сильным. Он вынес и тяжелую жизнь, и суровый климат, вынес и лишения, и побои. Он выжил и каким-то непостижимым образом вернулся сюда, продолжая поиски своей невесты.

Еще до моего возвращения из Дублина с моей Евой — в прошлой жизни ее звали Марией — стали происходить ужасные изменения. Они не затронули ее тела (оно по-прежнему оставалось прекрасным), но отразились на ее сознании. Вначале, после того как я уехал с этим уродливым существом, она рыдала, а потом начала соблазнять обоих охранников. Первая картина, которую я увидел, вернувшись в собственный дом, была такой. Она сидела за столом с двумя охранниками. Перед ними стояла початая бутылка бренди, а моя Ева, голая по пояс, сидела у одного из них на коленях и отвечала на его ласки заливистым смехом. Второй охранник стоял перед сидевшей парой, и эта женщина (моя женщина!) прильнула головой к его животу. Увидев меня, мужчины испугались и убрались восвояси. Тогда я схватил ее, моего ангела, и избил до синяков. Сначала она кричала и пыталась убежать, потом начала сопротивляться, царапаясь и кусаясь, как кошка. Наконец я остановился и отпустил ее, а она ушла и села в углу, следя глазами за каждым моим движением. Но когда я склонялся к ней и пытался объяснить, что она поступала ужасно, моя Ева сразу отводила глаза. Когда я положил руку ей на плечо, она ее оттолкнула.

Однако на следующий день с ней произошла удивительная перемена: она вновь была как ангел, и я ее за это похвалил. Она вела себя хорошо и в следующие два дня. А ночью моя Ева убежала. Утром, с самого рассвета, мы отправились на поиски и нашли ее, измученную, всего в двух милях, на склоне холма. Она бежала и бежала, пока вконец не обессилела. Она не думала, куда и зачем бежит, и даже не подозревала, что кружит на одном месте. Но какой

бы уставшей она ни была, бедняжка вновь попыталась ускользнуть от нас. Сопротивляясь, она до кости прокусила мне руку. И тогда я понял, что она научилась хитрить. Моя красавица притворялась, что любит меня, но все это для того, чтобы добиться моего расположения, обезоружить меня своим послушанием и заставить снять охрану, чтобы затем сбежать. Если раньше она вела себя дерзко и развратно, то теперь она стала хитрить. Ей достало недели, чтобы обучиться коварству! А еще говорят, что человек добродетелен по своей природе! Это не так, Джонатан. Он плох с самого момента своего появления на свет. И хуже всего — женщина, уж теперь-то я это знаю!

С того времени она стала самым злостным существом на земле, настолько злостным и бесчестным, что за ней нужно было постоянно следить. Она становилась все хуже и хуже, она плевала в меня от ненависти, рычала, как зверь, стоило мне пройти поблизости.

И все же я ее любил! Она же меня ненавидела — и это правда. Как бы я ни старался ее удержать, она все равно при любой возможности убегала в сарай. Там она ходила кругами и выла. Она отказывалась от пищи, не садилась за стол, не мылась и не позволяла себя мыть. Сидя в углу, она смотрела на все через свалявшиеся, как пакля, волосы, которые я совсем недавно находил такими красивыми. Ее прекрасное лицо все было вымазано грязью. Она похудела. Я злился от отчаяния. Но что я мог с ней поделать? Теперь она уже не была подходящей парой для меня. Она больше соответствовала тому безобразному уроду, для которого я ее и создавал.

Она обезумела. Я, обезумевший не менее, чем она, ходил ночами по дому, падал рыдая перед ней на колени в том самом углу, где она сидела. Куда делось то прекрасное существо, которое вернул я к жизни? Мне не нужна была эта грязная, омерзительная, злая женщина! Я хотел вернуть мою красавицу, мое творение, но ничего не получалось! Я рыдал перед ней и пытался положить голову на ее вздымающуюся от злобы грудь. Тогда-то и произошло то, в чем я, мучаясь от стыда, должен признаться, то, чего никогда ранее со мной не случалось, и на что, как мне думалось, я не был способен. Я силой овладел этим ненавидящим меня существом, и от этого мне стало еще хуже. После этого омерзительного животного акта, когда мы оба лежали на полу, она вдруг улыбнулась мне. О, что это была за улыбка! Она улыбнулась мне дьявольской улыбкой. После этого она будто бы привязалась ко мне, стала послушной, везде следовала за мной, не выпускала меня из поля своего зрения, и все улыбалась... этой жуткой улыбкой, которая не поддается описанию.

Мне трудно было поверить, что она полюбила меня за жестокость. Я думал, за этой улыбкой скрывается обман и она лишь притворяется, что любит меня, так же как раньше притворялась послушной лишь для того, чтобы я ослабил контроль. «Если это так, — с опаской думал я, — то на этот раз она не собирается от меня убегать. На этот раз она намеревается меня убить». Я понимал, что она меня ненавидит, да и в моем отношении к ней стала появляться ненависть.

Из всей этой неразберихи стала четко вырисовываться лишь одна ясная мысль (не исключено, что появилась она из-за охватившего меня безумия): я должен опередить мою Еву, иначе она убьет меня. Необходимо покончить с этим страшным экспериментом по созданию человека и воскрешению из мертвых, и другого пути нет. Я должен покончить со всем разом и забыть о своей неудаче и позоре. Я пробыл на этом острове всего шесть месяцев, а ведь можно было просто вычеркнуть эти шесть месяцев из своей жизни, как мне тогда подумалось, и вернуться к жизни нормальной и естественной. Разве не может человек стереть из памяти годы своего падения и позора, годы ошибок и неудач, замести следы,

оставить все в прошлом и вновь вернуться к честной жизни, восстановить былую репутацию в обществе, радоваться общению с друзьями и любить жену? Почему бы мне так не поступить? Что мне мешает? Неужели я всю оставшуюся жизнь должен буду думать о последствиях, об этих ужасных днях, когда я создал существа, предавшие своего создателя? Почему это, как гордо вопрошал я сам себя, мне должно вечно мучиться лишь из-за того, что я зашел так далеко в казавшихся невероятными научных изысканиях? (А сделанное мной, Джонатан, действительно казалось невероятным.) Кому принесу я вред, если просто-напросто забуду о своих созданиях? Это же не убийство. Да и они не люди — ни он, ни она. Как может быть человеком этот мужчина, которого я создал? Или женщина, которую я вернул из мертвых, спас, как некогда Орфей, вызволивший свою невесту из Аида? Я поступлю не хуже гончара, который, обнаружив, что у него получился горшок неподходящей формы или с неисправимым браком, разбивает его вдребезги.

Итак, я себя убедил — все было решено. Мы упаковали вещи и подожгли дом. Он сгорел вместе с женщиной, которую мы напоили снотворным и оставили запертой внутри. По крайней мере, так я думал.

Я стал ездить по разным местам, избегая цивилизованного мира, ибо испытывал потребность побыть какое-то время в одиночестве. Мой не привыкший к отдыху ум стал причиной того, что я начал изучать языки тех мест, которые я посещал. Со временем мне удалось немного успокоиться и, можно сказать, предать забвению свое прошлое. Какое-то время я жил среди алгонкинцев на севере Канады и изучал их языки и обычаи. Во время поездки в Нью-Йорк я познакомился со своей прекрасной женой Элизабет ван Дахлен. Я верил, по-настоящему верил, что искупил свое прошлое, что могу положить конец своему отшельничеству и создать новую, более счастливую жизнь.

Мы приехали жить в Англию. Здесь, в этом доме, родился мой ребенок, здесь я продолжил изучение языков — на этой почве мы и познакомились с тобой, Джонатан. Но как ужасно, что тот же самый интерес к языкам привел меня к сближению с Марией Клементи, и я снова встретил свою судьбу, уже не один год меня поджидавшую.

Неделю назад исполнился ровно год с тех пор, как я увидел ее. Произошло это в прошлом году, в конце зимы. Мы с женой были в опере. Помнишь ли ты, Джонатан, как Мария тогда, в полдень, на Чейни-Уолк пела «Помни меня»? Теперь тебе ясна будет ее ирония, ее издевка. Все дело в том, что в тот зимний вечер она пела партию Дидоны, бедной покинутой королевы из «Дидоны и Энея».

Поначалу я, как и все в зале, был очарован ее грацией и невероятной красотой ее голоса. У нее были теперь темные волосы, она была загримирована для выступления... Как я мог узнать в этой разодетой, всемирно известной, талантливой певице ту самую девушку, которая открыла свои серо-синие глаза навстречу моим и заулыбалась (это было тогда, в день ее второго рождения, или возрождения, которое я сотворил собственными руками)?!

И все же, по мере того как опера продолжалась, странное ощущение, что я встретил кого-то давно мне знакомого, постепенно овладевало мною. А вместе с ним появилось и болезненное желание приблизиться к Марии Клементи и понять, в чем дело. Жена моя сидела тогда рядом со мной в ложе. Но никогда ранее я не чувствовал себя так далеко от нее. И чем дольше слушал я оперу, тем сильнее разрасталось во мне желание. Оно становилось сильнее тех чувств, которые я испытывал до свадьбы к своей первой жене (а я любил ее, как сестру, ибо мы выросли вместе), или тех чувств, которые я испытывал в период ухаживаний за своей второй женой, которую также обожал, ибо именно она окончательно подняла надо

мною завесу, отделявшую меня после событий, произошедших на Оркни, от нормальной жизни, и потому символизировала мое возвращение к естественному жизненному укладу. Силу моего чувства к Марии можно понять: я знал, что мы с ней родственные души, что нам никуда не деться друг от друга, как не уйти создателю от своего творения. Я был напуган. Конечно же, я был напуган тем чувством, что пробудила во мне эта актриса, однако желание мое было сильнее страха.

И только когда Мария подошла к рампе у края сцены, отвечая на восторженный прием публики, я узнал ее... Я ее узнал! Повзрослевшая на семь лет, с перекрашенными в темный цвет волосами, это все же была она, та самая женщина, которой я тогда на Оркни вернул жизнь. До этого я думал, что она мертва — погибла во время пожара. Но я понял, что она спаслась и стояла сейчас передо мной... Моя Мария, моя Ева... моя Мария Клементи.

Я с трудом заставил себя в тот вечер вернуться домой вместе с женой и притвориться, что все в порядке. Но всю ту ночь я не спал. Я понимал, что с наступлением утра мне необходимо будет приняться за осуществление своих планов. В первую очередь я должен встретиться с ней.

Я действовал осторожно и хитро, как отъявленный злодей. Подавив желание сразу же броситься на ее поиски, я в тот же день отправился в театр и разыскал Габриэля Мортимера. Я сказал ему, что занимаюсь изучением языков, и предъявил ему всевозможные свидетельства. Я сообщил ему, что мне известно о немоте Марии Клементи (весь Лондон говорил об этом) и что мне, возможно, удастся узнать причину ее недуга и, если получится, помочь ей восстановить голос. В этом был определенный риск, ибо я знал, что этот ее «импресарио» умело эксплуатировал молодых женщин, и немота Марии могла оказаться всего лишь сказочкой, выдуманной для привлечения публики. А коли так, Мария запросто могла обличить меня — если только помнила все, что было.

Трудно описать, какая ярость охватывала меня, когда я разговаривал с Мортимером. Этот человек каждый день находился рядом с женщиной, которую я любил, знал самые интимные подробности ее жизни и, как подсказывал мне мой разгоряченный мозг, вполне возможно, был ее любовником. Но я вынужден был подавить кипевшую во мне ненависть, так как Мортимер нужен мне был для того, чтобы подобраться к Марии. Я поинтересовался о ее прошлом и узнал, что ее нашли, когда она, босая, пела на улицах Дублина. Добрые люди взяли ее к себе и держали, чтобы она развлекала их своим пением. Затем Мортимер привез ее в Лондон. Он добавил, что, несмотря на тяжелое прошлое, она женщина хорошая и что теперь у нее есть очень достойная компаньонка.

Я вел разговор спокойно и расчетливо. Полагаю, что я обвел Мортимера вокруг пальца, хотя этого и не требовалось, ибо ради собственной выгоды — а восстановление голоса Марии Клементи он расценивал как личную выгоду и надеялся, что мне удастся это сделать, — он готов был вступить в сделку с самим Сатаной. Мои же намерения не были искренними: я не горел особым желанием помочь Марии, так как, обретя дар речи, она могла бы меня обличить. Моим единственным желанием было овладеть ею. Пока я считал ее мертвой, умерло и мое стремление к ней. Но оказалось, что это не так. Оно просто замерзло, готовое оттаять с появлением тепла, и вот эта оттепель началась.

Мортимер ничего не понял. Он предложил мне нанести визит компаньонке Марии, миссис Джакоби, которая и даст мне ответ относительно моего предложения.

Не знаю, как удалось мне пережить те три дня ожидания. Я изнемогал, корчился от сладостной боли, был абсолютно рассеян, ни на чем не мог сконцентрироваться. Меня

мучили подозрения относительно характера отношений между Мортимером и Марией. Я проклинал ее компаньонку, которая по собственной прихоти оттягивала время нашей встречи. Мне пришлось отправить свою терпеливую жену к Фелтхэмам, чтобы она не видела моих мучений и не стала бы, пытаясь помочь мне, допытываться, в чем их причина, так как объяснить ей происходящее я не мог. Говоря по правде, мне хотелось, чтобы Элизабет удалилась как можно дальше, ибо она стояла теперь между мной и моим страстным желанием. С того самого момента как я вновь увидел Марию, мне захотелось, чтобы Элизабет не было рядом со мной. Мне много стоит это позорное признание, но от правды никуда не уйти.

Наступил день нашей встречи. В гостиной на Рассел-сквер в присутствии нестигаемой миссис Джакоби я увидел ее вновь, лицом к лицу, мою Еву, мою Марию. Ибо это была она, и я сразу же ее узнал. Сдержанная, очаровательная, она была тогда в бледно-голубом платье. В знак приветствия она протянула мне руку, мило улыбнулась, но в глазах ее не мелькнуло и тени узнавания. Это была уже не та девушка, что когда-то открыла глаза и подарила мне свою первую улыбку, и не то грязное, кусающееся и царапающееся существо, в которое эта девушка превратилась впоследствии. Но все равно, это была она.

Как я мог тогда догадаться, что это развратное, злобное создание, склонное к насилию, неспособное контролировать свои самые низменные эмоции, научилось скрывать похоть и злорадство под маской спокойствия и доброжелательности? Такую маску надевают сицилийцы, готовые вынашивать план мести и ждать своего часа и десять, и двадцать, и тридцать лет. Конечно же, она меня узнала. Теперь я не сомневаюсь, что она знала обо мне все эти годы. Но она не приближалась ко мне, дабы не раскрыть свои планы. Она ждала, когда я сам приду к ней, готовая нанести мне последний удар собственной рукой и сделать его наиболее мучительным.

Начались занятия, целью которых было помочь ей научиться говорить. Дабы замаскировать свое желание, я втянул в это дело тебя, дорогой мой друг, о чем теперь очень и очень сожалею. Кроме того, эта затея оказалась абсолютно бесполезной, ибо, стоило ей меня отвергнуть, как я впал в отчаяние, даже не пытаясь это скрыть, — да ты и сам все прекрасно знаешь. И это было только начало, а затем жизнь моя превратилась в сущий ад.

Конечно же, мои отношения с женой становились все хуже и хуже. Я делал то же, что делают в подобной ситуации слабовольные мужчины, предающие своих жен: никак не пытаясь рассеять ее подозрения, я утверждал, что все в порядке, злился, когда она жалобно начинала меня расспрашивать, и продолжал все снова как ни в чем не бывало. Запуганная моим гневом и горячностью отрицаний, она вскоре вообще перестала меня о чем-либо спрашивать, стала держаться от меня на расстоянии, худела и бледнела. Я не испытывал к ней ничего, кроме раздражения, когда она пыталась со мной заговорить, и чувства облегчения, когда она оставляла меня в покое. Я не чувствовал ни вины, ни стыда. Я хотел только одного: чтобы она совсем удалилась, дабы не было больше никаких препятствий и я мог бы добиваться расположения Марии. Каким же негодяем я был — сам того не осознавая! Я добивался, чтобы Элизабет оставила меня и уехала домой в Америку. Если б мне это удалось, возможно, она была бы сейчас жива, так же как и мой сын! Но она была мне верна, и эта преданность не позволила ей меня оставить, ведь она понимала, что со мной творится что-то неладное. О боже, какую награду получила она за свою преданность!

Когда ты сказал мне, Джонатан, что видел то звероподобное существо, я испугался. И это после того, как были убиты мои жена и ребенок! Сначала я и в самом деле поверил, что

убийство это совершено было с целью ограбления, что это какой-то вор залез в дом. Когда же ты сказал, будто видел в саду этого человека, у меня возникло леденящее душу подозрение, что это страшное существо каким-то образом сумело вернуться назад с другого края земли для того, чтобы наказать меня и испортить мне всю жизнь. А между тем я всем своим существом стремился к Марии — она сделала из меня раба.

Элизабет убили, а я — как затянула меня эта страшная трясина! — был почти что счастлив. В это время я не испытывал к покойной жене почти никаких чувств, все мое существо было занято Марией! Я думал только о том, что теперь ничто не мешает мне ухаживать за Марией, что я смогу привести ее в свой дом, жениться на ней.

Хьюого и Люси видели, как я принял ее у себя, — и это случилось почти сразу же после смерти моей жены. До этого момента, до этой последней, роковой ночи Мария держала меня на расстоянии.

Но тогда я ее еще ни в чем не подозревал... Мария, да-да, это была Мария... Это она убила мою жену и ребенка, это Мария потом набросилась и на меня. А то страшное существо, тот мужчина, которого я создал (и которого, как я полагаю, она, выкупив, привезла сюда из Австралии), даже ни о чем не знал.

Она специально выжидала и не говорила мне об этом до той самой ночи, когда уступила моему желанию и отдалась мне. Она превратила для меня эти две недели ожидания в настоящую пытку, затем пришла ко мне домой и позволила себя поцеловать, а после этого позволила мне и все остальное.

Однажды ночью, когда в темноте дома все стихло, она пришла ко мне в комнату и в этой самой кровати, где я сейчас умираю, отдалась мне. Она обвивала меня как змея, выпивая каплю за каплей все мои силы, забирая из меня жизнь. Я знал, что мне не насытиться ею. Не Евой она оказалась, не моей Евой, а ее противоположностью! Это была Лилит!^[18]

И вот, когда я лежал здесь, ослабевший и опустошенный, но все же счастливый, она показала мне шрам на своем плече, оставшийся как напоминание о том пожаре, из которого ей удалось выбраться. И вдруг она шепотом заговорила. Сначала я не слышал ее слов, так как меня поразили тот факт, что она все-таки обладает речью. Оказывается, все это время она могла говорить! И уже потом, когда она склонилась надо мной на кровати, уронив мне на лицо пелену своих волос, я начал понимать ее слова. Она сказала, что знает меня давно, что ей удалось выбраться из огня и тайком пробраться на судно, отплывавшее в Ирландию. Что на берегу ее, замерзшую и голодную, подобрала лудильщики и привезли в Дублин. Она действительно поначалу не могла разговаривать, потому что не знала языка. Да если б она и умела говорить, ей бы нечего было сказать. Она не имела представления о простейших повседневных вещах, ничего не могла рассказать о себе, о своем прошлом, так как ничего о нем не помнила. Ее одолевали какие-то смутные образы, связанные с Францией, где она жила, будучи ребенком, болезненные воспоминания о парижских улицах, где ее предали. Единственное, что она ясно помнила, — Оркни, меня и Адама, которого я сотворил. Иными словами, она не помнила почти ничего, ничего не знала, а посему какую пользу принесли бы ей слова, если б они у нее и были?

Уже позднее, после того как Мортимер подобрал Марию и устроил ее судьбу, она услышала, что я в Лондоне (единственное, что знала она обо мне, — это мое имя). Когда я попался в расставленные ею сети, она немного поиграла со мной, затем убила мою жену и ребенка и еще немного потешилась надо мной, заставила меня, как верного пса, волочиться

за ней. Я лежал под этой женщиной, ее сильные руки придавили меня к кровати, ее волосы спадали мне на лицо и слепили глаза. И тогда — как будто всего этого было недостаточно — она сказала мне с улыбкой: «Адам здесь! Я уже давно прячу его в твоём саду». Потом она ещё ближе придвинула своё лицо к моему и произнесла: «Каждый день мы встречались в его потайном местечке. Я крала у тебя для него пищу. Ты удивлен? Каждый день, час за часом я отдавалась ему! Что, смешно? Он любит меня, Виктор Франкенштейн, а я люблю его! Мы не можем любить больше никого, потому что любим только друг друга. А теперь мы здесь, мы оба здесь, в этом доме, а ты, создавший нас и обращавшийся с нами как тебе заблагорассудится, когда понял, что не можешь нас полюбить, — ты умрешь теперь сам на наших руках!»

Когда-то я боялся того, что беззащитная и хрупкая Мария попадет в руки безобразного мычащего монстра. И вот теперь дверь в мою спальню распахнулась, и на пороге оказался он! В дверном проеме я увидел огромную фигуру того самого человека, которого я создал, услышал его тяжелые шаги, почувствовал, как он схватил меня своими огромными ручищами, словно ребенок куклу, и увидел прямо перед собой его дикое, злорадствующее лицо. Кричать я не мог.

Не прилагая никаких усилий, он стащил меня с кровати, перебросил через плечо и побежал вместе со мной вниз. Он держал меня в гостиной у окна. Руки мои были связаны, а ноги едва касались пола. Это она, Мария, стоя в ночной сорочке, в неистовстве резала меня и колола ножом, приговаривая: «Это тебе за удары! А это за голод! Ты не знаешь, что такое голод! Это за холод! За плеть! За цепи!»

Я помню, что упал, помню звук разбитого стекла. Наверное, этот зверь, убегая, выпрыгнул через окно. Помню ещё, что Мария склонилась надо мной и низким глухим голосом проговорила мне прямо в лицо: «Ну а теперь умирай, мой дорогой создатель, умирай, создатель моего Адама. Теперь умирай!» Должно быть, в таком положении ее и нашли вошедшие в комнату люди и решили, что она плачет над моими ранами. Об этом мне уже ничего не известно, так как я потерял сознание.

Вот, Джонатан, об этом ужасе я и хотел тебе рассказать. Прости меня, дорогой мой друг, прости, что я использовал тебя для того, чтобы скрыть свою страсть к Марии. Прости, что обманул тебя ради того, чтобы выгородить самого себя, когда ты докопался до правды. Мне невыносима была мысль о том, что все узнают, какие злодеяния я совершил. Мысль о том, что путь в рай для меня заказан с той самой минуты, как я совершил свое ужасное падение, была для меня ужасной. Я знаю, мне не на что надеяться в этой жизни, и в дальнейшем уже ничего не изменить. Видимо, я буду проклят навечно.

Прости меня, Джонатан, и помолись, если захочешь.

И ещё, ради всего святого, убереги себя и свою семью от всей той мерзости, которую я совершил. А те двое убегут, и я не думаю, что их поймают. Берегись их, заклиная.

Храни тебя Бог, дорогой мой друг. Ты был верен своему непутевому товарищу и не оставил его в беде. Если сможешь, прошу тебя, помолись за меня, Виктора Франкенштейна, как бы мало ни заслужил я твоей молитвы...

О боже! Я не могу не написать послесловие к ужасной истории Виктора Франкенштейна, несчастнейшего из людей, живших когда-либо на этой планете,

собственными руками сотворившего все свои несчастья. И воистину мне есть что добавить. Не исключено, что вы воспримете письмо Франкенштейна как бред человека, находящегося в предсмертной лихорадке. Я и сам очень часто пытался убедить себя в том, что все это выдумки. Увы! Слишком много свидетельств, подтверждающих, что все рассказанное имело место в реальности.

Если вы помните, я читал это признание на Грейз-Инн-роуд в тот самый день, когда Франкенштейн скончался. Как и любого человека, который бы взялся за чтение этих записей, меня охватила волна ужаса и сомнений. Призрачные формы, окружавшие меня, были не менее страшны, чем леденящие душу признания.

Какие же опасные вопросы о человеческом разуме и знаниях поднимались в этом письме!

Я не обратил никакого внимания на предупреждение Виктора относительно сбежавшей и так и не пойманной пары полулюдей. Если все написанное было правдой, у них не имелось оснований нападать на меня. Если все написанное было правдой... Ибо поверить рассказу Виктора — значит поверить в то, что он сделал, а именно вернул из небытия двоих созданий, которые вовсе не должны были существовать, и сделал их подобными человеку!

Как в старой трагедии, Виктор бросил вызов богам, посягнул на их полномочия и страшно пострадал от своего честолюбивого замысла, гордости и тщеславия. Возможно, к этим грехам он добавил и еще один — бесчеловечность. Ибо хотя эти двое и являлись незаконнорожденными, не такими, как все мы, хоть они и были сделаны руками человека и затем выпущены на свет божий, хоть этих существ и вернули к жизни из могилы, где должен был мирно покоиться их прах, разве, несмотря на все это, не были они в какой-то степени людьми? Разве не были они по сути своей, пусть и в искаженном, извращенном виде, во многом такими же, как мы? Искусство Марии Клементи, страстная любовь чудовища к своей невесте — разве эти качества не свидетельствуют о том, что перед нами не просто звероподобные существа? Разве не близки они по своей природе к людям?

Мой друг не воспринимал их как людей, ибо они таковыми и не были. Но и животными они тоже не являлись, хотя он и обращался с ними именно как с животными. Он считал, что имеет право уничтожить их, как человек, который решает убить свою собаку, или хуже — как мясник, который каждый день закалывает на бойне скот. Мне кажется странным, что Виктор никогда, с самого начала и до последнего часа, не думал о том, как нужно обращаться с подобными существами, не размышлял он и о том, кем же на самом деле он для них является. Что же касается моей роли в этих событиях — то я здесь совсем не главное действующее лицо. Мою роль можно сравнить скорее с ролью певца в древнегреческой трагедии, изумленного и пораженного происходящим, но бессильного что-либо изменить.

Я уронил прочитанные мною бумаги на пол, пожалев о том, что они не могут сейчас навсегда исчезнуть. Я знал, что несчастный Виктор скоро и сам предстанет пред своим Творцом и что ему самому вот-вот будет вынесен окончательный приговор.

Мне было жаль его.

Как свидетельствует моя история, милорд, до этого времени я не являлся пылким христианином. Вера играла в моей жизни не самую важную роль, оставалась на заднем плане. Как и многие мужчины, я считал, что религиозная кротость более подходит женщинам и детям, нежели взрослым мужчинам. Такая точка зрения (конечно, не одобряемая церковью) очень распространена, и мы все это прекрасно знаем. Однако ужасная история, произошедшая с Виктором Франкенштейном, заставила меня впервые

серьезно задуматься над этой проблемой. Главной темой для меня здесь стал вопрос об искуплении вины. И в тот самый момент, когда последние страницы рукописи Виктора выскользнули у меня из рук, я понял, что должен предпринять еще одно, последнее усилие и убедить моего несчастного друга, пока он еще не умер, обратиться к Господу за прощением. Ведь, как мне показалось, несчастный был убежден, что ему нет прощения и что он обречен на вечные муки ада. Я не мог допустить, чтобы эта мысль стала его последней мыслью перед смертью.

Знакомых священников в Лондоне у меня было мало, и все же одного из них я отыскал у изголовья его умиравшей прихожанки и, вытащив его на снежную улицу, уговорил поехать на Чейни-Уолк. Это был Саймон Шоу. По дороге я многое поведал ему из истории Виктора, и он мне наполовину поверил. Пока наш экипаж пробирался через пелену снега к месту назначения, священник стал настаивать на том, что, раз Виктор Франкенштейн передал мне свои научные записи и соответственно секрет создания жизни, я непременно должен передать эти бумаги в руки церкви, то есть, как я понял, в его собственные руки.

Недостаток моей религиозности всегда в значительной степени объяснялся тем, что я не очень-то доверял священникам, которые пользовались своим положением и частенько вводили в заблуждение доверчивых прихожан. Поэтому на сделанное мне предложение я ответил прямо и несколько раздраженно: «Мистер Шоу, я везу вас сейчас к своему другу, который находится на смертном одре. И я делаю это с той целью, чтобы вы убедили его в том, что Спаситель простит ему все за искреннее раскаяние в совершенных грехах. Именно для этого я пришел за вами, и ни для чего иного. Я не отдам вам никаких бумаг, а если вы заявите об их существовании, я буду все отрицать и скажу, что это лишь ваши измышления. Если у вас какие-то иные цели и вы едете не для того, чтобы принести утешение, которое дает религия умирающему человеку, то я сейчас же разверну коляску и мы поедем обратно».

Заявляя это, я чувствовал свою правоту, так как еще до этого случая мне стало известно, что мой собеседник находился не на самом хорошем счету у епископа и прослыл человеком хитрым, изворотливым и в некотором смысле ненадежным. Как бы то ни было, но после моей речи он утомился. Однако предположение, что записи Виктора могут хранить секрет его таинственного эксперимента, преследовало меня все эти годы. Поэтому-то я и испытываю такое облегчение, передавая их вам.

Когда мы прибыли на Чейни-Уолк, дверь нам открыл привратник, очень опечаленный. Франкенштейны находились в спальне сына. Виктор умирал. Мы с Саймоном Шоу поднялись наверх. Я не мог находиться в комнате, где родители провожали в последний путь своего сына, и потому спустился вниз. Бедный Виктор, как мне потом сказали, умер вскоре после моего ухода. Мать держала его за одну руку, мистер Шоу — за другую. Священник говорил Виктору о милости Божией и о всепрощении. Тот не смог ответить, а только сжал руку священника и после этого умер. Но раскаялся ли он в самом деле — никто не знает.

После того как я, не помня себя, спустился вниз по ступеням лестницы, а наверху свершилась эта финальная сцена прощания, я так и оставался в гостиной, охваченный тяжелыми мыслями. Я стоял, прижавшись лбом к заледеневшей раме длинного окна. Два охранника до сих пор находились на своих местах и по-прежнему играли в карты. И вдруг нечто непонятное, какие-то странные тени привлекли мое внимание. В свете луны на покрытой снегом лужайке, ярдах в двухстах от меня, две темные фигуры резвились в радостном танце. Одна — огромная, уродливая, прихрамывающая, в длинном, развевавшемся на ветру черном пальто, а вторая — грациозная, порхающая, как птичка. Они плясали среди

снега и льда, приседая и скользя, резвясь и подпрыгивая, создавая невиданный танец, фигуры которого известны были только им одним. Даже он, при полном отсутствии грации, демонстрировал удивительную неуклюжую резвость. Танцевавшие были поглощены друг другом.

Я видел Марию (ибо понимал, что это была она), видел, как она подняла руки над головой и, кружась, упала в объятия своего жениха. Затем он выпустил ее — и она, окутываемая ветром, вновь закружилась на белом ковре этой бальной залы. Танец продолжался, их ноги рисовали темные узоры на заснеженной траве. Я закрыл глаза, решив, что все это мне привиделось. Но не тут-то было: когда я открыл их, то снова увидел двоих влюбленных. Их танец-ухаживание становился все более диким, он превращался в шутовское топанье с причудливыми телодвижениями. Эти двое стали кружиться, все сильнее и сильнее, держась за вытянутые руки, а под конец застыли в долгих объятиях. Затем, оторвавшись друг от друга, они взяли за руки и помчались прочь. Они бежали так, как бегут счастливые дети утром в солнечный день: прочь от дома, в лес, к деревьям, к веселым забавам.

Я думаю, что это случилось в тот самый миг, когда умер Виктор. То был триумфальный танец существ, которым он подарил жизнь.

— Два короля — пара, — услышал я слова одного из охранников.

— Нет уж! Ах, этот проклятый свет! — воскликнул другой.

В этот момент сквозняком задуло свечу. Мы оказались в темной комнате, и только лунный свет лился через окно. Те фигуры, что были на улице, уже исчезли. После них остался только утоптаный снег да пересекавшие лужайку следы их ног.

Я не мог сдвинуться с места от ужаса. Нужно было позвать охранников, которые в это время искали огонь, чтобы зажечь свечу. Но какой теперь в этом смысл? Чтобы найти и схватить сейчас эту пару, понадобится целое подразделение. Я понимал, что теперь, сделав свое дело — то есть покончив с Франкенштейном и воссоединившись друг с другом, — они уйдут подальше от всех. Их создатель мертв. Они нашли друг друга. Больше им не нужен никто.

Я покинул этот горестный дом, никому более не сказав ни слова.

В ту ночь Корделия, которая оказалась смелее меня, приехала сама, несмотря на обледеневшие дороги. Вскоре началась оттепель, и через месяц, когда вернулись светлые дни и весна стала предпринимать первые усилия согреть и развеселить мир, мы поженились. В том же году я дал Корделии прочесть эти страшные записи Виктора. После этого я спросил, как она думает, что мне следует с ними сделать: сохранить ли, передать ли их в другие руки или просто-напросто сжечь? Она сказала, что завешание Виктора вместе с чертежами и формулами следует запереть в безопасное место, где никто бы их не нашел. Так мы и сделали. И вот только теперь, когда я стал разбирать свои дела и взялся разрешить все по совести (хотя надеюсь еще много лет жить и здравствовать), мне вдруг показалось, что настало время решить эту трудную задачу и разобраться с этими материалами.

Однако, милорд, я не могу не добавить к своему рассказу еще один эпизод. Произошел он через несколько лет после описанных мною событий, когда мы с женой отдыхали в Швейцарии. Я и Корделия сидели с Флорой и нашим маленьким сыном на берегу одного из самых красивых в этой стране озер и с удовольствием смотрели на поверхность воды и прекрасный пейзаж, раскинувшийся на другой стороне озера. Там, на берегу, за небольшой зеленой полянкой возвышались высокие сосны — начало леса. День был ясный. Расстояние

между нами и другим берегом было всего каких-нибудь две тысячи ярдов. Внезапно жена моя поднялась на ноги и закричала: «Смотри, Джонатан! Что это там?» По самому краю озера, прямо напротив нас, двигались две фигуры. Одна — огромная и неуклюже прихрамывающая, а другая, та, что ближе к нам, — женственная и грациозная. Между ними, держа родителей за руки, шел ребенок, судя по одежде — девочка. А потом все трое исчезли, ушли за сосны, да так быстро, что никто из нас не успел рассмотреть их как следует и потому не мог утверждать, действительно ли там кто-то был или нам все это привиделось. И все же некоторое время мы в ужасе смотрели друг на друга. Жена со страхом спросила меня: «Думаешь, это они?» Но на это я ничего не мог ответить.

Милорд, не исключено, что мы ошиблись, предположив, что видели именно тех существ, которых создал Виктор Франкенштейн, но, поскольку я передаю вам теперь все записи ученого, а в них может раскрываться секрет создания человеческой жизни искусственным путем, я считаю своим долгом сообщить вам и об этом факте, так как он может оказаться исключительно важным. Представьте себе, если те две фигуры и в самом деле были созданиями Франкенштейна, его Адамом и Евой, значит, они не просто находятся на свободе, но еще и растят ребенка, такого же, как они. Получается, они могут воспроизводить себе подобных. Будут ли подобные дети отличаться от наших с вами детей, если их воспитывать одинаково? Будут ли они более жестокими и злыми, чем мы с вами, или наоборот? Какими они будут? Кем станут?

И еще одна серьезная мысль пришла мне на ум. Если ребенок этот был рожден Марией Клементи, не является ли он единственным выжившим ребенком Виктора Франкенштейна? Ведь ученый вполне может оказаться отцом этой девочки, зачавшим ее с женщиной, которая была возрождена к новой жизни им самим. Пугающие, невероятные мысли посетили меня, милорд, но имеем ли мы право их отбрасывать?

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я видел эти фигуры на берегу. Но и сейчас время от времени меня охватывает ужас при мысли о появлении такого вот ребенка — невероятно, не по-человечески прекрасного с виду, но непредсказуемого изнутри: ангела или дьявола? Какой могла стать эта девочка? И тогда, милорд, я молюсь только об одном: чтобы мне никогда не довелось с нею встретиться.

И вот, наконец, я передаю вам эти бумаги с уверенностью, что вы лучше меня рассудите, что с ними надлежит сделать. Но, какое бы решение вы ни приняли, я прошу вас только об одном: упомяните в своих молитвах Виктора Франкенштейна, а заодно и меня, свидетеля этих ужасных событий. И я, в свою очередь, осмелюсь предложить, если только это дозволено, помолиться вам и за себя самого, так как вы теперь становитесь лицом, посвященным в историю Виктора Франкенштейна, которому к тому же надлежит решать, как теперь поступить с его наследием.

*При сем и остаюсь, милорд,
вашим покорнейшим слугой.*

Джонатан Гуделл

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Примечания

Судным днем в Англии называют дату проведения Вильгельмом Завоевателем земельной описи Англии (1086 год). (Здесь и далее прим. перев.)

Здесь автором, по-видимому, допущена неточность. Речь идёт, скорее всего, о короле Карле II, сыне казнённого короля Карла I, которому при помощи верных роялистов удалось бежать от солдат Кромвеля. Существует легенда о том, как Карл II спрятался в дупле дуба, а солдаты, расположившиеся внизу, его не заметили.

«Ясеновая роща» (The Ash Grove) — популярная шотландская народная песня.

«Опера нищего» (The Beggar's Opera) — популярный в Англии жанр сатирической оперы.

Автор цитирует одно из стихотворений Уильяма Вордсворта (1770–1850).

Имеется в виду королевский театр на Друри-лейн в Лондоне.

Полли Пичем — главная героиня «Оперы нищих», написанной по одноименной пьесе Бертольда Брехта.

Здесь речь идет о популярном в то время в Англии мальчике-актере Мастере Бетти, известном под именем малыша Росциуса (1791–1874).

Гаррик, Дэвид (1717–1779) — известный британский актер

Комедия дель арте — итальянская комедия с элементами импровизации

Жертва (фр.).

Гильотина (фр.).

«Ацис и Галатея» — оратория немецкого композитора Г. Ф. Генделя (1685–1759).

Произведение Генри Перселла «Дидона и Эней» (1691) — одна из первых английских опер, вошедших в историю мирового оперного искусства.

Оберон — прекрасный король фей и эльфов из известной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1594–1596).

Услуга за услугу (лат.)

Траппист — член католического монашеского ордена, возникшего в 1664 г. и отличающегося очень строгим уставом. (Примеч. ред.)

Согласно еврейской мифологии, Лилит была первой женой Адама. Как гласит предание, Лилит, расставшись с Адамом, стала злым демоном, убивающим младенцев.